

ДРУЖБА НАРОДОВ



● *Олег Хлебников*
Куда нас вывезет кривая?
Стихи

● *Гурам Одишария*
Кот президента
Повесть. С грузинского

● *Денис Гуцко*
Турчин
Повесть

● *Анар*
«Не могу надышаться жизнью...»
Разговор ведёт Людмила Лаврова

● *Левон Хечоян*
«Бог послал художника на землю...»
Рассказы и интервью



8'2016

**Независимый
литературно-
художественный
и общественно-
политический
журнал**

**Основан
в марте 1939 года**

Адрес редакции:
117218, Москва,
ул. Кржижановского, дом 13 стр. 2,
журнал «Дружба народов».
Телефон (многоканальный):
8-499-519-02-12.

**E-mail: dn52@mail.ru,
http://magazines.russ.ru/
druzha/
LiVEJOURNAL: http://druzba-
narodov.livejournal.com/**

Юридическая поддержка:
Congress Consulting.
Свидетельство о регистрации
№ 73 от 14.09.1990 г.
в Министерстве печати
и массовой информации РСФСР.
Свидетельство о регистрации
товарного знака № 288681.
Зарегистрировано в
Государственном реестре
товарных знаков и знаков
обслуживания РФ
12 мая 2005 г.



Отпечатано в ОАО «Можайский
полиграфический комбинат»,
143200, г. Можайск, ул. Мира, 93;
www.oaompk.pf тел.: (495)745-84-28;
(49638)20-685

**Редакция не имеет возможности
рецензировать и возвращать
рукописи.**

**Во всех случаях полиграфического
брака в экземплярах журнала
обращаться в типографию, указанную
в выходных сведениях.**

**При перепечатке наших материалов
ссылка на журнал «Дружба народов»
обязательна.**

Сдано в набор 20.06.2016.
Подписано в печать 27.07.2016.
Формат бумаги 70 x 108 ¹/₁₆
Печать офсетная.
Усл.-печ. л. 22,4. Усл. кр.-отт. 23,1.
Уч.-изд. л. 21. Тираж 1200 экз.
Заказ 3380. Цена свободная.

Дружба народов

8'2016

Редакционная коллегия

Главный редактор	Александр ЭБАНОИДЗЕ
	Лев АННИНСКИЙ
	Леонид БАХНОВ
	Ирина ДОРОНИНА
Зам. главного редактора	Наталья ИГРУНОВА
	Галина КЛИМОВА
	Владимир МЕДВЕДЕВ
Ответственный секретарь	Сергей НАДЕЕВ
Зам. главного редактора	Александр СНЕГИРЕВ

Редакционный совет

Рамазан
АБДУЛАТИПОВ
Сухбат
АФЛАТУНИ
Муса
АХМАДОВ
Ольга
БАЛЛА
Алла
ГЕРБЕР
Денис
ГУЦКО
Иван
ДЗЮБА
Александр
КЛЯЧИН
Валентин
КУРБАТОВ
Ольга
ЛЕБЕДУШКИНА
Захар
ПРИЛЕПИН
Кнут
СКУЕНИЕКС
Сергей
ФИЛАТОВ
Ренат
ХАРИС
Вячеслав
ШАПОВАЛОВ
ЭЛЬЧИН
Леонид
ЮЗЕФОВИЧ

Ефим Бершин

На развалинах Вавилона

Я родился напротив тюрьмы. Стоило открыть дверь нашей развалюхи — и вот она, тюрьма. И когда я поутру выбегал с резиновым мячом на улицу, меня уже ждали. Заключенные приветственно махали протиснутыми сквозь решетки руками и кричали, предвкушая зрелище. Дело в том, что тюрьма хоть и выглядела старой и обшарпанной, но прямо возле ее стен была ровная, словно выглаженная утюгом, площадка, на которой мы целыми днями гоняли мяч. А эски были нашими преданными фанатами. Они дружно освистывали нас, когда мы не попадали в наспех устроенные из камней ворота и жидко аплодировали, когда мяч влетал туда, куда надо.

Конечно, я не понимал, что этими решетками наш мир, наш город разделены на две части. Да и трудно было понять, где проходит эта граница, потому что все постройки вокруг выглядели ничуть не лучше тюрьмы. Или даже хуже. Ведь я родился не только напротив тюрьмы — я родился среди настоящих развалин. И могло показаться, что город кто-то перепахал огромным бульдозером. Кому-то могло показаться. Но не мне. Откуда мне было знать, каким был город до войны? А о войне я узнавал, прячась под столом, потому что за столом мне еще не было места. За столом сидел отец. За столом сидели еще молодые, несколько лет назад вернувшиеся с фронта мои дядьки и соседи. Они пили водку и говорили о войне. А я ползал между ногами и учился считать. И у меня все время что-то не сходилось. Потому что на пять человек приходилось почему-то только восемь ног. Я выглядывал наружу, пересчитывал сидящих — их было пять. А ног всего восемь. Поэтому война входила в мое сознание безногой.

* * *

Кстати, вполне может быть, что именно из-за этого у меня в школе потом не задалось дела с точными науками. В частности, с арифметикой. Убедившись еще там, под столом, что в арифметике нет никакой логики, я окончательно махнул на нее рукой и переключился на другие, более естественные науки. Например, на суворовскую науку побеждать. Потому что побеждать надо было почти ежедневно именно в естественных обстоятельствах. Ведь мы целыми днями играли в войну на самых настоящих военных развалинах, среди которых запросто находили гильзы от патронов и даже неразорвавшиеся гранаты. Мы бросали жребий и делились на русских и немцев. Потом менялись. Потому что никто не хотел постоянно быть немцем. И воевали до темноты под ворчание соседей. Иногда кто-то подрывался на оставленной войной мине.

Бершин Ефим Львович — поэт, прозаик, публицист. Родился в Ти-располе в 1951 году. Автор нескольких книг стихов, документальной и художественной прозы. Постоянный автор нашего журнала. Живет в Москве.

* * *

Кстати, я не зря вспомнил про науку побеждать. Если я скажу, что наш Тирасполь основал Суворов, меня никто не поймет, так как все уже забыли, кто такой Суворов. А я помню. Потому что на центральной площади он до сих пор скачет на своем бронзовом коне, что далеко не всем теперь нравится. Некоторые предпочитают думать, что город основал кто-то другой. И не по указу Екатерины Великой, а по указу какого-нибудь короля из близлежащих земель. Но его все-таки основал Суворов. В 1792 году. Сначала турок побил, а потом основал. И даже не город, а только крепость. Город уже потом вокруг нарастился. Сам. По крайней мере, когда ведомства государственной коллегии иностранных дел коллежский секретарь Пушкин А.С. был отправлен к главному попечителю колонистов южного края генерал-лейтенанту Инзову в Кишинев, а из Кишинева примчался в Тирасполь, город уже был. Конечно, Пушкина больше интересовал не сам город, а именно крепость. Где под надзором генерала Сабанеева сидел пушкинский дружок Раевский. И Пушкин долго ходил вокруг крепости, но так ничего и не выходил. А от предложения генерала посетить крепость отказался наотрез. Не дурак же он был, в самом-то деле, добровольно голову в петлю совать. И умчался восвояси. Но это я уже потом узнал, когда худо-бедно грамоте обучился. А тогда я только играл в футбол и в войну.

* * *

По воскресеньям мы шли на базар. И вдоль всей при базарной улицы, чуть ли не через каждый метр, сидели безрукие и безногие фронтовики и просили милостыню. И нечего было им дать. Потому что мы только шли на базар. И я уже знал, что по дороге мы обязательно заглянем в мастерскую к безногому дяде Грише, другу детства моего отца, сапожнику. И в мастерской будет пахнуть свежей кожей. И мне подарят там пару маленьких сапожных гвоздей, которые обязательно пригодятся мне на той, дворовой войне. И еще я знал, что там же, у ворот базара, мы встретим балагулу Яшу, огромного, как его лошадь, с которой он постоянно ругался, как будто она была ему женой.

— О, ты уже такой большой, как почти моя лошадь! — кричал он, заведя меня. — Хочешь покататься на биндюге?

Вообще-то биндюга — это такая большая телега, на которой перевозили грузы из морского порта. Морского порта у нас не было, только речной, на Днестре, но большие подводки тоже называли биндюгами, потому что, как ни крути, а Одесса была совсем рядом, и у тираспольчан с одесситами образовался общий язык. Что не удивительно: ведь оба новороссийских города были основаны по одному и тому же указу императрицы.

— Хочу, — робко отвечал я, заранее зная, что на биндюге мне места не найдется.

— Нельзя, — огорчал меня Яша. — Ты же не товар! Ты же уже почти человек. А человек — не товар.

Конечно, в те времена Яша и предположить не мог, что человек таки да лет через сорок станет товаром. Что его будут продавать на рынке, как свежие помидоры на базаре. И что, если внимательно взглядеться, у каждого на груди можно будет разглядеть вместо ордена — бирку с ценником. Но тогда они этого не знали. Они были молодыми. И я никак не могу понять, почему они казались мне стариками. Эти «старики» по субботам, сменив рабочую робу на чистые пиджаки и рубахи, частенько собирались прямо в мастерской дяди Гриши. И снова говорили о войне. И снова пили. И снова спорили. А во дворе, оглушенные миром и тишиной, на наспех сколоченных лавках другие молодые еще фронтовики тоже пили. А напившись, рвали на груди рубахи, кричали и дрались в кровь. Иногда доводили дело и до смертоубийства.

* * *

Любимым занятием было бегать по центральной улице за тележкой безногого Ваньки, который улюлюкал и строил рожи угрюмым теткам, волочившим тяжелые кошелки с продуктами. И при этом свистел так, что щеки лопались. Ванька слыл

городским сумасшедшим. То есть был ли он сумасшедшим на самом деле — неизвестно. Скорее всего, не был. Но он был городским сумасшедшим как бы по должности. Просто была такая должность или такая роль — «городской сумасшедший». И Ванька эту роль исполнял с удовольствием.

Было Ваньке лет сорок. Но иначе как Ванька его никто не называл. К тому же у него совсем не было ног. Совсем. Тело его заканчивалось чуть пониже живота. Дальше ничего не было. Была самодельная, сбитая из нескольких коротких досок тележка на подшипниках. И на этой тележке, как привинченный, он гремел по центральной улице, отталкиваясь от асфальта двумя половинками городошной биты. В глазах у него обычно жила какая-то жутковатая решимость, ничего хорошего не сулившая, тем более что из-под грязной, найденной, очевидно, на помойке шляпы выползал широкий шрам, пересекал лоб и прятался в густой щетине, которая начиналась чуть не у самых глаз.

— Дамочка! — орал он, начиная свой концерт где-нибудь у дверей винного магазина. — Что ты так бежишь мимо, как будто я у тебя отнял наследство? Подумаешь, я ей не купил цветы. Возьми себе на клумбе. Я растратился. — И доверительно сообщал сгрудившимся вокруг мужикам: — Я строю во дворе новую уборную. Как в Америке, с водопроводом и без щелей. Чтобы не стыдно было людей пригласить.

Дамочка, конечно, улепетывала со всех ног, зато вокруг Ваньки начинала собираться публика. Мужики, выходящие из магазина, подносили стаканчик кисленького. Жуликоватые подростки, пытаясь приобщиться к Ванькиной славе, подначивали:

— Ваня! Ваня! Вон еще одна идет.

— Не-е, — кривил рожу Ванька. — Она же не с нашего переулка. Вы слышите, мадам? — орал он на всю улицу. — Я на вас даже не смотрю! Я на вас закрываю свои глаза. Лучше я буду смотреть на памятник Тарасу Шевченко. У него усы больше.

Толпа бессовестно ржала.

— Идиёт, — огрызалась мадам, которую жестокая жизнь отучила от комплиментов еще лет двадцать назад. — Посмотри на себя у зеркало, если оно у тебя еще есть. Если нет, заехай до Аркаши в парикмахерскую. Там есть зеркало. Но тебя туда не пустят. Таких даже в парикмахерскую не пускают.

— Он сбежал с больницы, — поддерживала мадам всегда неожиданно появлявшаяся баба Маня с Рыбной улицы. — Там есть место для безногих придурков.

— Что?! — радостно вздергивался Ванька, как будто ему в топку подбросили дров. — Она думает, что если она скоро умрет, так может что хочешь говорить заслуженному инвалиду без ног.

Подходил красномордый участковый Толик и брал одной рукой под козырек, а другой — стаканчик кисленького.

— Смотрите, люди! — заходила баба Маня с Рыбной. — Это одна шайка!

— Что можно спросить, — поддакивала мадам, — если они вместе пьют эту кислятину? Это одна шайка.

Впрочем, Ванькины концерты бывали непродолжительными. Поохотав вволю, толпа расходилась по своим делам, а Ванька оставался один. Честно говоря, именно этот момент мне и был интересен. Я стоял за одним из высаженных вдоль дороги пирамидальных тополей и, высунув голову, наблюдал, как менялось Ванькино лицо. Городской сумасшедший на глазах тускнел, опускал плечи, уменьшался в размерах и медленно, как недопиленное бревно, катил в первую попавшуюся подворотню, тщательно собрав в холщевую сумку остатки закуски.

Кажется, никто не знал, где он живет.

Однажды он заметил, что я подглядываю за ним, и поманил меня пальцем. Я осторожно подошел, но на всякий случай остановился метрах в четырех.

— Не бойся, пионер, — непривычно тихо сказал Ванька. — Ты чей?

— Я?

— Ты, ты. Как твоя фамилия?

* * *

Когда умер дед, меня взяли с собой на кладбище красить буквы на мраморной плите. Шершавый могильный мрамор пожирал кисточки почти мгновенно. Грубая свиная щетина уменьшалась так стремительно, как будто ее срезали ножницами. Уже третья обезглавленная кисть валялась неподалеку. Но я продолжал ожесточенно сражаться с каждой буквой в отдельности, закрашивая выемки всеми имеющимися у меня средствами. Наконец, закрасив последнюю букву, я отступил на несколько шагов, чтобы оценить собственную работу. С могильной плиты, сверкая свежим серебром, на меня глядела моя фамилия.

* * *

Кстати, у бабы Мани с Рыбной была дочка Инна. И ее, когда пришло время, баба Маня решила выдать замуж за достойного человека, как тогда говорили, с твердой профессией. Человеком с твердой профессией оказался Жорик — местный столяр с рынка, который в маленькой мастерской виртуозно выстукивал окна и двери для сельских домов. А кроме того, вооружившись стамеской и не обращая внимания на торговки, самозабвенно гонялся по рынку за должниками — как правило, деревенскими и нищими.

Но дело не в этом. Дело в том, что я тоже попал на эту свадьбу, потому что родителей позвали, а меня девать было некуда. Было мне уже лет двенадцать, но сказать, что свадебная церемония произвела на меня неизгладимое впечатление, никак не могу. Ну, жених с невестой. Ну, свадьба под брезентовым тентом прямо во дворе. Ну, гости. Говорили о каких-то скучных и непонятных для меня вещах, иногда хором запевали на русском и на идиш. Попадались даже украинские и молдавские песни. Оркестра, конечно, никакого не было. По тем временам оркестр был невиданной роскошью, и бабе Мане он был явно не по карману, как и «достойному человеку с твердой профессией».

Оркестра не было. Но между столиками бродил одинокий аккордеонист, который за малую плату играл и пел по заказу гостей. И тогда я увидел этого человека. Он сидел напротив, увешанный орденами. И у него не было глаз. Совсем не было глаз. Вместо глаз — два тонких надреза. Но из этих щелочек удивительным образом лились слезы. То есть, глаз не было, а слезы были. Время от времени неуверенным жестом слепого он подзывал к себе аккордеониста, совал ему в руку мелочь и заказывал одну и ту же песню. Аккордеонист играл и пел «О, койфчен, койфчен папиросн». А слепой плакал. Когда песня заканчивалась, он опять совал аккордеонисту мелочь и опять плакал. И так много раз. Он отдавал свои последние деньги, этот слепой, для того, чтобы плакать.

* * *

В общем, город наш казался мне в детстве целым материком. И, наверно, это так и было. Пока он постепенно не начал превращаться в маленький остров, на котором мне уже было мало места. А может, он с самого начала и сформировался именно как остров, который нелепая судьба прибывала то к одному, то к другому берегу. О чем и говорят его история с географией.

Город впадал в Днестр, Днестр впадал в Лиман, Лиман впадал в Черное море, Черное море переходило в Средиземное, а Средиземное становилось частью океана, омывавшего берега Европы, Африки и Америки. И обратно.

Пока в Америке шел дождь, здесь уже все высыхало, а когда на Волге начиналась засуха, в городе как раз шел дождь. Поэтому всегда был повод испытывать чувство превосходства.

— И как они живут в такой Тмутаракани среди голых индейцев и сплошных пингвинов? — любил блеснуть эрудицией безногий Ванька. — Я на них просто удивляюсь.

Город всегда был столицей мира. Но тайной. И мало кто об этом подозревал. А как, с другой стороны, можно было подозревать, если столицу мира прячут куда-то на задворки большой страны, где она не имеет возможности громко о себе заявить. Даже

если миллионера вырядить в лохмотья, его не пустят на порог собственного банка, не говоря уже о высшем обществе, где выпивают и закусывают такие же миллионеры, как он сам. Если, конечно, этот миллионер — не актер местного театра Сеня Бобокер, который даже в лохмотьях мог выглядеть как принц.

Так вот: тут была столица мира. Больше того сказать: здесь был настоящий Вавилон. Но наоборот. Потому что в Вавилоне из одного языка Бог сделал много языков. А здесь из многих языков он сделал один. Потому что так было удобнее. И Богу, и людям. Здесь, кстати, тоже была башня. Но водонапорная.

Когда-то давно, еще в девятнадцатом веке, основатель местного почтамта господин Иванов-Полянский и зачинатель городской аптеки господин Горфинкель-старший заплатили заезжему историку, немцу Фрицу Хойзерну, целых пятьдесят рублей, чтобы он выяснил наконец, сколько и какого народу здесь перебивало, потому что сами они уже не могли разобрать, кто есть кто. И не случайно почти двести лет спустя местный начальник милиции, рискуя погонами, сделал робкую попытку отменить национальность совсем. И его можно было понять, этого начальника. Потому что если тебя зовут Николай, отчество у тебя Соломонович, а фамилия Гайдаржи, то пойдя разберись, кто ты такой. Здесь уже давно никто не мог отличить болгарина от еврея, армянина от поляка, а немца от русского.

И этот, кстати, Фриц Хойзерн обнаружил, что в окрестностях города и в нем самом по очереди и вместе проживали в разные времена скифы, левкины, греки, вестготы, тиверцы, уличи, печенеги, половцы, гунзы, кыпчаки, турки, мадьяры, литовцы, поляки, немцы, евреи, запорожцы, русские, румыны, французы, армяне, болгары, молдаване, цыгане, гагаузы и много еще кто. Был, как выяснилось, даже один негр, но он почему-то не дал потомства.

Ошарашенные таким изобилием, господа Горфинкель и Иванов-Полянский на собственные деньги открыли музей, заведовать которым поставили того самого Фрица Хойзерна. И надо сказать, что этот самый Фриц Хойзерн тут прижился настолько, что так дал потомство совместно с гимназисткой выпускного класса Машей Пушкарь, о чем было немало кривотолков. Уже в наше время директором музея работал его прямой потомок в девятом колене некто Иван Домовой, по национальности числящийся запорожским казаком, но без всяких усов и без чуба. Он, скорее, был похож на крымчака, этот Иван Домовой. Или даже на крымского караима. Причем, на караима с подчеркнутой немецкой педантичностью и неутолимой цыганской жадной что-нибудь спеть или украсть.

Как всякие столичные жители, местные не признавали никаких авторитетов со стороны, потому что в городе и без того хватало авторитетов. Если даже по радио, например, объявляли, что скоро повысят цены, все равно все шло к Аркаше в парикмахерскую, чтобы узнать, что он думает по этому поводу. Если Аркаша говорил «да», значит, было да, а «нет» — так нет. Правда, был еще и официально назначенный начальник города, о котором многие слышали, но мало кто видел. Он был не местный. И горожане принимали его как что-то неизбежное, на что невозможно никак повлиять. Как дождь или ветер, как большую лужу на центральной площади или на худой конец, как городскую канализацию: запах неприятный, конечно, но без нее тоже нельзя.

Впрочем, в городе был один собственный неисправимый бунтовщик — рыжий сапожник Яша, у которого было то ли семь, то ли восемь детей, таких же рыжих, как он сам. Он был такой бунтовщик, этот Яша, что хуже Парижской коммуны. Он всегда был недоволен всеми властями, которые перевидал на своем веку. А перевидал он немало. Потому что ни одна даже самая маленькая война не проходила мимо города. А после того как она проходила, город обязательно от какой-нибудь страны отсоединили и присоединили к какой-нибудь другой. И так много раз. Но с другой стороны, этот Яша был большой оптимист:

— Если нас все время к кому-нибудь присоединяют, — рассуждал он, — так значит, мы еще кому-нибудь нужны.

И после такого вывода возле его сапожной будки продолжала разыгрываться

всякая жизнь. А там, где разыгрывается всякая жизнь, начинаются всякие ограничения. Конечно, в стране была какая-то конституция. И раз в год по поводу этой конституции был выходной день. Но что в ней написано, в той конституции, никто не знал. Говорили, правда, что там подробно, как в Талмуде, объяснялось, что можно делать, а что — нельзя. Но граждане и так знали, что можно, а что нельзя. В городе как-то сам собой выработался некий кодекс, затрагивавший глобальные вопросы жизни и смерти. И редактор газеты Григорий Самуилович Перебийнос в качестве смелого эксперимента даже напечатал некоторые его пункты, почти каждый из которых начинался со слова «человек»:

— человек не должен кушать с ножа, потому что будет злой, как собака Миши-Собаководы, которую он хотел продать за Днестр в прошлом году, но никто не купил;

— человек не должен кушать из разбитой посуды, потому что может поломать себе всю жизнь;

— человек не должен класть на стол подушку с кровати, потому что может умереть ни в чем не виноватый сосед;

— человек не должен класть на стол гребешок, потому что будет болеть голова;

— две женщины не должны смотреться в одно зеркало, потому что будут любить одного мужчину, и хорошо, если он холостой, потому что при чем тут бедные дети;

— человек не должен катать по улице пустую бочку, потому что все дома опустеют, и что тогда будет;

— человек не должен заглядывать в чужое зеркало (без комментариев).

Тут же содержались некоторые рекомендации. Например: обязательно мыть зеркало, если в него заглянул кто-то чужой, а после большого застолья скатерть непременно вытряхивать на улице, чтобы никто не завидовал и не сплетничал. А главное — под клеенку кухонного стола обязательно класть рубль, чтобы в доме всегда были деньги и достаток.

Конечно, это далеко не полный перечень правил, по которым жили горожане. Но и этого бы хватило, тем более, что все они носили исключительно гуманный характер и служили конкретной пользе. В том числе и пользе чисто медицинского характера. Иначе среди них не было бы рекомендации не поинимать человека всуе, чтобы он не икал. Или такой, например: если человек серьезно заболел, он должен купить собаку. Потому что собака забирает к себе его болезнь, и человек выздоравливает. Но существовал еще и особый нравственный кодекс, который описать словами просто невозможно. Он был какой-то внутренний, то есть его как бы не было, но он был. И за его выполнением тщательно следили авторитетные люди — уже упомянутый парикмахер Аркаша, Маня с Рыбной улицы или, к примеру, полковник Николай Соломонович Гайдаржи, который, хотя и занимал государственный пост, но пользовался безусловным уважением как местный урожденный.

И поэтому, когда Маня с Рыбной или Николай Соломонович останавливали на улице пьяного или выговаривали тому же городскому сумасшедшему Ваньке, никто их не осуждал. Все понимали, что они правы, потому что кто как не они будут правы?

* * *

Известно, что память существует для того, чтобы ее не было. Потому что если она есть, то жить невозможно. Иногда бывает лучше все забыть и жить так, как будто ничего не было. Кажется, в городе это понимали если не все, то многие. В конце концов, по праздникам здесь дрались, пили и гуляли до полного беспамятства. А вся местная юность еще и отплясывала на танцплощадке. Сначала под аккордеон, а позже даже и под оркестр. Танцплощадка была заветным местом для многих, поэтому по субботам и воскресеньям на нее устремлялась вся молодежь города. Меня, правда, на танцплощадку еще не пускали, поэтому я наслаждался зрелищем со стороны. А посмотреть здесь всегда было на что, потому что сами по себе танцы служили лишь прикрытием напряженной лирической жизни, которая бывает лишь в неопределившиеся молодые годы. Короче говоря, здесь разыгрывались подчас такие любовные драмы, каких на сцене своего театра не мог бы поставить и сам режиссер городского театра

Фима Кукес. Поэтому даже известные концерты безногого Ваньки не всегда здесь приходились к месту. И тем не менее что-то его сюда тянуло.

— Смотри, как они дергаются! — выступал Ванька, показывая пальцем на танцующих. — Как будто их побил ток. Если бы у меня был рубильник, я бы их выключил.

— О! — потирали руки юные придурки, у которых не было на билет. — Ванька уже тут. Будет весело.

Весело, впрочем, было и без Ваньки. Танцплощадка, как будто и впрямь ее ударило током, ярким электрическим пятном скакала на холме в самом центре города. И когда начинались танцы, музыка была слышна не только у Аркаши в парикмахерской, чья витрина светилась тут же за углом, но и в самых отдаленных закоулках, где света вообще не было. И можно сказать, что по выходным дням ни один человек, хотел он того или не хотел, не мог остаться в стороне от этого праздника цветущей молодой жизни.

— Боо-жи мой! — заходился Ванька. — Какие ноги! Если бы у меня были такие ноги, я бы ходил на руках!

После такого штампованного комплимента ошарашенная девица, еще неопытная в уличных перепалках, заливалась краской и смотрела на Ваньку неодобрительно. Как и ее ухажеры. На моих глазах один из таких ухажеров, по всему виду, не местный, с высоты своего немалого роста оглядел Ваньку вместе с его тележкой и злобно заявил:

— А если бы у тебя были ноги, я бы тебя вместе с ними тут закопал.

Местные, конечно, тут же потащили парня к берегу выяснять отношения, потому что Ваньку в обиду не давали. А сам Ванька неожиданно дернулся на своей тележке и затих. И это было первый раз на моей памяти, когда он не ответил. Он не ответил и покотился в сторону от танцплощадки к деревьям и кустам.

Вообще-то я уже давно заметил, что представления у танцплощадки даются Ваньке меньше всего. Остроумие ему здесь отказывало. Но несмотря на это, каждую субботу он вновь и вновь карабкался на холм и устраивался прямо у ажурной металлической ограды, немного стыдливо замыкавшей в себе этот заповедник веселья и счастья.

— О, пионер, — узнал меня Ванька. — Ты уже тоже танцуешь? Тебе же еще рано.

Я что-то промычал в ответ и отодвинулся на всякий случай подальше. Ванька же откуда-то из недр своих лохмотьев достал смятую пачку папирос, закурил и тут же тяжело закашлялся. Откашлявшись, он вдруг спросил:

— Ты не знаешь, зачем они все скамейки на улицах льют из чугуна? У них так много чугуна, что надо лить из него скамейки? Чугун у них растет на клумбе! — Ванька хрипло засмеялся, отчего весь задвигался вместе с тележкой. И вдруг, резко переменявшись в лице, прохрипел: — Нет, ты слышал, что он сказал? Он бы меня закопал! Кто он такой, что он бы меня закопал? И не такие, как он, закапывали. И что? Я еще здесь, а они где?

Еще раз глубоко затянувшись, Ванька продолжал:

— Ты знаешь, что здесь было раньше?

— Что?

— Они здесь закопали пять или даже десять тысяч.

— Кто закопал?

— Как это кто? Ты что, не знаешь, кто сюда пришел, когда была война? Ты думаешь, мои бедные ноги остались на фронте? Нет! Они тут лежат! — И он ткнул прокуренным потрескавшимся пальцем в сторону горящего танцевального пятна. — Эти люди, если это были-таки люди, согнали сюда почти всех евреев, кто не успел убежать. И меня тоже. Хоть я не еврей. А кому надо было выяснять? У нас тут все друг на друга похожи. Кому-то повезло, и его сначала убили. Мне не повезло. Меня так закопали. Только ноги прострелили. Но ты видишь, я таки вылез, я откопался. А кто еще откопался? Никто! Весь этот холм шевелился, пока они наконец все не задохнулись. А я вылез. Я вылез, а ноги мои, наверно, тут лежат. Они танцуют на моих ногах, пионер! Как тебе это нравится? Они танцуют на костях. Они танцуют на своих бабушках и

дедушках. И ничего! Земля таки не лопається! Не лопається земля! Ты слышал? Он бы меня закопал! Уже закапывали. Но она таки лопнет эта земля. Это тебе Ванька говорит, пионер. Она таки лопнет. Она этого не выдержит.

Загасив окурок, Ванька тяжело поплыл на своем подшипниковом плоту вниз, с холма. Он плыл на этом маленьком плоту, как Ной, через разбушевавшийся океан музыки и веселья. Он был один на этом плоту. На нем больше никому не было места.

* * *

В городе, кстати, много чего было. Причем не только сапожная будка рыжего Яши. И не только аптека и почтамт, оставшиеся в наследство от господ Горфинкеля и Иванова-Полянского. Не только.

В городе, помимо будки рыжего Яши, было еще девять сапожных будок и целый обувной цех при фабрике индивидуального пошива одежды, которым руководил назначенный сверху цыган Роман Пиртя.

Было целых пять заводов, один из которых — механический, две фабрики и три кинотеатра, причем один летний, без крыши. Кинотеатрами почему-то руководили исключительно поляки: Яновский, Янковский и Радышкевич-Коган. А еще был интересный драматический театр. Драматическим он был потому, что два раза горел. А некоторые, как, например, режиссер Фима Кукес, считали, что даже три. Этот Кукес, кстати, был уникальный режиссер. Он ставил такие спектакли, что люди или только смеялись или только плакали. Короче, заснуть он не давал никому.

Кроме того, в городе было два парка с памятниками, три памятника без парков, а также одна общественная баня в двух отделениях, впоследствии, после торжества цивилизации, переоборудованная в коммерческий ресторан «Европа».

Была одна тюрьма на Еврейской улице, а напротив — больница. И шесть парикмахерских, помимо той, где работал Аркаша.

Большой православный собор украшал, естественно, именно Соборную улицу. Точнее, угол Соборной и Базарной. Для немцев в свое время специально была построена кирха, для поляков — костел, для евреев — синагога. Потом, правда, не только собор, но и остальные культовые строения потеряли свое первоначальное предназначение. Православный собор превратился во дворец ритуальных услуг, где можно было оформить не только печальный конец, но и законный брак, означающий начало новой жизни. Синагога превратилась в мастерскую по изготовлению надгробных памятников, а костел вообще исчез с лица земли. И чем впоследствии занимались отец Федор, рэб Иосиф и ксендз Станислав, история умалчивает.

При этом многие поглядывали с завистью на чудом сохранившуюся на берегу старообрядческую церквушку. Ее закрыть не удалось. Старообрядцы, вооружившись вилами и топорами, встали стеной. И большевики временно отступили, решив не поднимать скандала. Зато там же, на углу Соборной и Базарной, высилась пожарная каланча, на вершине которой день и ночь ходил по кругу пожарный в полном обмундировании. Даже когда в городе появились телефоны, пожарного оставили. И он так и ходил, пока не вошел в историю и его не стали в обязательном порядке показывать приезжим.

Что было еще? Было много еще чего. Например, паром, на котором горожане каждое воскресенье переправлялись на другую сторону реки, где, по общему мнению, шумел густой лес, хотя то, что шумело за рекой, настоящим лесом назвать было трудно.

Наконец, в городе было два базара, на которых торговали люди с другого берега, плохо, как считалось, понимавшие, чего от них хотят. Горожане смотрели на них свысока, но все-таки брали дешевые рыжие абрикосы, черный, как августовская ночь, виноград и нежную и податливую, как женская грудь, брынзу. Не забывая, естественно, попробовать. Пробовали все: арбузы, дыни, вишню и даже вино из бочонков. Впрочем, именно вино как раз и пробовали охотнее всего. Бывало, какой-нибудь пришибленный жизнью пьяница, придя без копейки, так попробует, что уходит с базара с перекошенными глазами. А вот, например, постное масло из семян подсолнечника

пробовали так: сначала брали каплю на палец, потом — на язык, потом закатывали глаза к небу и, наконец, подносили палец к носу, словно боясь ошибиться запахом.

— Это не масло! — вдруг делала открытие солидная покупательница. — Та курица, что я купила у твоей соседки, по запаху больше масло, чем это масло.

— Так они же рядом лежали, — отругивалась торговка, — как ты со своим мужем двадцать лет назад.

— Что? — делала круглые глаза покупательница. — Нет, вы слышали? — призывала она в свидетели остальной базар. — Просто твой подсолнух рос в погребе. Или из него выковыряли семечки еще до того, как сняли урожай. Ну, хорошо, — примирялась она. — Почему?

— Два рубля.

— Два рубля! — Глаза покупательницы делались такие большие, что доставали до ушей. — За два рубля это точно не масло. Рупь пятьдесят — еще масло. А два — уже курица. — И она с большим достоинством уходила прочь, волоча в обеих руках здоровенные сумки.

Базар для горожан был не просто базаром. Это был отдельный мир, который хозяйки готовы были обсуждать с утра до вечера. Базар породил целую систему образов и понятий. Если, например, женщина шла с базара, встречные ее обязательно спрашивали:

— Ну что, кусается?

— Кусается, — вздыхала она в ответ. И все понимали, что речь идет о ценах.

— Маша, вы же хотели купить вишню на компот! — удивлялись всезнающие соседи, не обнаружив в Машиных авоськах вишню.

— Чтоб она ко мне смеялась! — следовал страстный ответ. Это означало, что такую вишню за такую цену Маша покупать не собирается.

Если в какой-нибудь праздник на площади собиралось много людей, обязательно можно было услышать замечание:

— Народу, как на базаре!

— Что ты торгуешься? Ты не на базаре! — обрывали какую-нибудь зарвавшуюся спорщицу.

— Закрой свой базар! — кричали друг другу соседи, заканчивая очередной скандал на общественной кухне.

И праздник назывался базаром, и беспорядок назывался базаром, и скандал — тоже. И даже улица, на которой в прежние годы, как уже было сказано, размещались городская управа, православный собор и пожарная каланча, тоже называлась Базарная, хотя базар находился совсем в другом месте. Базар был везде и во всем. Даже в самом сокровенном. Когда человека, перевалившего средний возраст, спрашивали, сколько ему лет, он неизменно отвечал:

— Ну что вы спрашиваете? Вы же видите, что я уже иду с базара.

Накануне своего двухсотлетия весь город как-то незаметно для себя самого переступил невидимую черту и стремительно пошел с базара навстречу неизбежному.

* * *

Он пошел с базара навстречу неизбежному, потому что как раз к его двухсотлетнему юбилею на окраинах упали новые снаряды и мины. Горожан пришли убивать. За то, что этот Вавилон, где все говорили на любых языках и все друг друга понимали почти без слов, отказался быть убитым. Но он умирает, этот Вавилон. Умирает, несмотря на то, что стал-таки отдельным государством, а тайная столица стала явной. Несмотря на то, что взамен разрушенных построены новые церкви и синагоги. Умирает, никем не замечаемый. И мне, неожиданно ставшему эмигрантом в своей стране, иногда кажется, что не только та тюрьма, напротив которой я родился, была тюрьмой. Тюрьмой стал весь город, уже четверть века закрытый за тюремными решетками блокады.

А люди? Да что люди? Кому они нужны, эти люди?

Анатолий Ким

В поисках малой родины

1.

Половину своей жизни, той самой, которая ведет меня и по сей день, я не имел представления о своей малой родине.

У каждого человека есть большая родина, а на ней имеется место, где он конкретно произошел, которое запомнил как образ чего-то самого дорогого и милого для сердца и что носит в себе всю жизнь, куда бы она ни уводила его. Это и есть малая родина. И бывает так, что человек — вынужденно или по собственному желанию — может поменять большую родину, отказаться от нее в пользу другой, но малую родину он не может ни поменять, ни отречься от нее.

Я мысленно бросил взгляд свой в сторону деревни Немятово, что на Рязанщине.

Там стоит по правому порядку деревенской единственной улочки четвертый или пятый от начала, если смотреть со стороны большой дороги, маленький домик о три оконца, обшитый самолично моими руками тесом, с пристроенной верандой, которую я также поставил своими руками.

Он сейчас умирает, этот первый собственный мой дом, заканчивает дни своей жизни, потому что все на свете заканчивается, когда подходит срок. И потому еще дом умирает, что никакого внимания и ухода за ним нет. Старые дома, как и старые люди, умирают от ненужности и невнимания.

Деревенька Немятово стоит на прежнем месте, старые знакомые избы почти все целы, кроме моей, а в конце деревни, ближе к речке Курше, прежняя лесополоса, которая теперь стала густой чащобой, разрослась и вылезла березовым и осиновым, кленовым и рябиновым мелколесьем на заброшенные поля.

Деревенька живет и будет жить приезжими родственниками и наследниками былых хозяев немятовских подворий, но моя малая родина уже не живет и не будет жить. Потому что малая родина — это не только место на земле, малая точка на большой родине, имеющая название и почтовый адрес. Но прежде всего — это люди, живущие в этом месте, это невероятно сильная тяга снова и снова видеть их, особенная радость встречи с ними, хотя это и не родня, и не близкие тебе по духу люди, и не соратники в общей битве за жизнь. Где бы я ни встречал людей из Немятова — ей богу, они были не менее дороги мне, чем близкая родня.

Анатолий Андреевич Ким — прозаик, автор книг, переведенных на многие языки, лауреат многочисленных литературных премий. Родился в 1939 г. в с. Сергиевка Казахской ССР. Учился в Московском художественном училище памяти 1905 года, окончил заочно Литинститут. Работал крановщиком башенных кранов, мастером на мебельной фабрике, киномехаником, художником-оформителем, инспектором-искусствоведом в Худ. фонде СССР, вел семинар прозы в Литинституте, преподавал в Сеуле (Южная Корея). Постоянный автор «ДН», последняя публикация в № 7 за 2015 год: «Гений. Роман о Смоктуновском».

А теперь перечислю тех, которые были особенно дороги мне из немятовских жителей.

Моя самая первая задушевная подруга, тетя Марина, Марина Осиповна Самарина. Мой ближайший сосед Михаил Ларионович Жуков, хмурый и молчаливый старик в состоянии трезвости, но весьма разговорчивый и резонерски настырный в состоянии подпития. Это Михаил Михайлович Власов по прозвищу Крыч, в далеком прошлом секретарь сельсовета. Но, по его собственному признанию, он «спилси», поэтому стал рядовым колхозником и работал по плотницкому делу. «Топор, — говорил он, — из рук не вырвется, — ниже плотника по должности не снизят!» Это Михаил Трофимович Лобзов, еще один сельский начальник, бывший председатель колхоза, потом бригадир — который «спилси». Никита Иванович Лобзов, Никиток по-уличному, механик, тракторист, один на всю деревню. Василий Егорович Кузнецов, действующий секретарь сельсовета. И, наконец, Николай Васильевич Федин, бывший парторг колхоза, бывший учитель истории, а потом и писатель районного масштаба, написавший много исторического и злободневного материала по жизни округа.

Кроме последнего, Фебина, все перечисленные в неполном списке моих сограждан по малой родине умерли давно, поэтому я буду вспоминать их и писать безо всякой опаски обидеть кого-нибудь, называя их подлинные имена. Как говорил Михаил Ларионович, сосед, — все ушли на Бугор, то бишь, на сельское кладбище за большим селом Колесниковым, где раньше была деревянная церковь, превращенная в школу, а рядом со школой — большой погост. Там и собрались и полеживают себе мирно в песчаной земле среди сосен все немятовские шабры мои.

Волею удивительной судьбы — у меня три большие родины. Одна, историческая, — это Южная Корея, провинция Каннунг, где находится могила моего пращура, Ким Джу Вон, короля эпохи Силла.

Вторая родина, фактическая, — это Казахстан, где я родился в селе Сергиевка Чимкентской области в 1939 году.

И третья, Большая родина, — СССР, страна, которой уже нет на картах мира. Но есть Россия, есть русский язык, есть созданная на нем великая литература, к коей принадлежу и я, грешный. И, пожалуй, это и есть самая подлинная моя Большая родина — русский язык. Ибо человек — это материализованный дух, а одухотворение его происходит через слово. Воистину вначале было Слово. Слово создало все, всех и каждого. Магическое Верховное Слово создало само Мироздание. И мне на своей третьей, духовной родине спокойно и комфортно.

Понятие малой родины пришло ко мне гораздо раньше, чем реальная тоска по ней. И она, тоска, открыла мне однажды, где находится моя малая родина.

Поначалу никакой тоски не было. Я начал поиски малой родины рассудочно, от головы, как говорится. Это уже тогда, когда я стал писателем, то есть стал выпускать книги, печататься в журналах и жить на литературные заработки. И тогда же вошел в понятие, что у каждого более или менее значительного столичного писателя есть где-то — должна быть — своя малая родина. Там он заметная фигура, гордость земляков, там его ждут, привечают, везут на рыбалку, варят уху, и он проводит «встречи» с земляками, «выступает» перед ними. И писатель всегда с большой радостью устремляется к этим встречам, если на то выпадает подходящий случай.

Вдруг обнаружилось, что у меня-то такого места нет, хотя имею я аж три великие родины. И однажды, «от головы», я решил поехать в Казахстан, в Чимкентскую область, Тюлькубасский район, и найти там село Сергиевку, где я, по паспортным данным, и явился на белый свет.

Я поехал туда из Москвы — сначала Алма-Ата, затем поездом до Тюлькубаса. Меня сопровождали старшая сестра Люция Андреевна и добрый мой друг писатель Оралхан Бокеев. Он работал редактором республиканского журнала, то есть был в

номенклатуре, поэтому созвонился — на своем уровне — с первым секретарем райкома комсомола. Это был здоровенный полный парень, он потом, в другие, новые времена независимого Казахстана сильно возвысился, был какое-то время премьер-министром республики.

Но тогда мы были молоды, примерно одного возраста, и все протокольные моменты, заранее согласованные с горкомом партии, проходили непринужденно, весело и дружелюбно. Моя сестра Люся горделиво посматривала на меня, считая, что это из уважения ко мне сам первый секретарь райкома комсомола встретил нас и возил на своем новеньком ГАЗ-69 в колхозы, и присутствует на «встречах» самолично, уверенно посиживая во главе президиума, а за дастарханом в доме какого-нибудь председателя колхоза сидит на почетном месте, на торе, и ест бесбармак руками, как это заведено у казахов. Хотя вилки и ножи всегда подавали. (Сближение русского руководства с титульной нацией через приобщение к национальным обычаям.)

На эти «встречи», «мероприятия» и «посещения» передовых хозяйств и «осмотры» полей мы ухлопали первых два дня, и мое нетерпение скорее увидеть свою малую родину, село Сергиевку, критически нарастало. Еще немного — и я готов был послать к черту и Сергея-секретаря, и своего друга Оралхана с его согласованной с местным партийным руководством программой пребывания в районе московского писателя, но тут наконец Сергей объявил, что завтра с утра назначена поездка в Сергиевку.

Видимо, мое родное село не входило в число передовых хозяйств, а мое желание, цель поездки, столь не близкой, — посещение малой родины, не стояло в списке мероприятий первым пунктом, если вообще стояло. Я тогда был еще малоизвестным писателем, и потому мой друг Оралхан, деликатно скрыв от меня всю официальную подоплеку нашей поездки, оформил ее как-то через Союз писателей Казахстана, и оплату маршрута Алма-Ата — Тюлькубас и обратно, и проживание провел через литфондовскую финансовую систему. И опять-таки я ничего об этом не знал, только дивился тому, что друг казахский за все платит сам, а мне не дает и пальцем шевельнуть. И хотя было неудобно, я свел это к широкому, как степь, казахскому гостеприимству.

И вот день поездки в Сергиевку настал. С утра на райкомовском газике Сергей-секретарь повез нас троих на мою малую родину. Мы с сестрой очень волновались, у нас были общие воспоминания из далекого-далекого детства в Сергиевке. Сестра старше меня на четыре года, и мы прожили там до моих двух лет, после чего семья переехала под городок Уш-тобе, в деревню с названием «Первая точка»... Сестра вспоминала, как в Сергиевке ей купили трехколесный велосипед, а я, двухлетний, катался вместе с нею, стоя на подножке сзади, держа ее за плечи. Я что-то помнил об этом, но совершенно не помнил о том, что замучил сестру своим ненасытным желанием кататься и кататься и устраивал ей дикий ор со слезами, когда она не хотела больше катать меня...

Мы ехали через замечательную широкую равнину в виду серовато-зеленых каменистых Тюлькубасских гор, через тучную хлебную долину с созревающей пшеницей. Окна машины были опущены, в салон врвался — помню хорошо! — благодатный, теплый, живой, ароматный хлебными запахами воздух. И я был взволнован, что вдыхаю такой вкусный живительный воздух своей подлинной родины.

Сергей-секретарь, сидевший за рулем, предупредил, что следующий поселок и будет Сергиевкой. Я настроился торжественно и решил, что сейчас закрою глаза, а когда приедем и машина остановится, я их открою и увижу... — это и станет незабываемой картиной в музее моей памяти. Образом моей малой родины.

И вот мы подъехали, машина остановилась. Я выдержал еще минуту, самую волнующую, с закрытыми глазами — и открыл их. Действительно, картина, которая явилась моим глазам, осталась в памяти на всю жизнь...

Я увидел двор, заросший пыльными кустами бурьяна. Пыль лежала на всем вытоптанном дворе. У края двора были устроены из неровных жердинок футбольные

ворота, перекладина которых была связана со стойками старой вздохмаченной веревкой. За воротами, словно в рамке картины, стоял привязанный серый ишак, развалив длинные уши, с тоскующим видом...

Оралхан и Сергей-секретарь уже вышли из машины, разминая ноги. Оба с особым значением посматривали на меня, предполагая волнующий момент в моей жизни. Но я в эту минуту ощутил вовсе другое. Меня вдруг охватила какая-то невнятная, глухая подавленность, и я смотрел на дремлющего ишака чуть ли не со злостью. Хотя бедный измученный жизнью ишак никоим образом не мог послужить причиной моего резко переменившегося настроения... Мне вдруг с беспощадной ясностью открылась истина, что, оказавшись в Сергиевке, я вовсе не обрел чувства малой родины.

Нет, малая родина — это не географическое место, которое указано в паспорте. И сиренево-зеленые горы Тюлькубаса, и теплый благотворный хлебный воздух предгорной долины, и бескрайние золотистые поля зрелой пшеницы, и живописное, все в зеленых яблоневых садах селение староверов, которых уже не осталось в Сергиевке, не пробудили чувства малой родины. И ни длинное двухэтажное здание советской постройки, что было сельской школой, где начал свою трудовую деятельность мой отец сразу после окончания педагогического института, ни смутная греза — память младенчества, в которой что-то зыбко туманилось, на грани исчезновения, связанное с дряхлой лестницей на второй этаж, без перил, с серыми деревянными выщербленными ступенями, ни пыльная площадка перед лестницей, где, по словам сестры, она катала меня на трехколесном велосипеде, ни унылый ослик с разваленными на стороны ушами — ничто не породило в душе чувства дорогой и единственной малой родины.

И мне стало ясно, что ни факты, документы, какие-то отрывки воспоминаний, пусть даже самых подлинных, уникальных, ни свидетельства людей, помнивших твоих родителей и тебя самого в розовом младенчестве, — ничто не пробудит в тебе пронзительного чувства малой родины... Это приблизительно выглядит так: насильно мил не будешь, сердцу не прикажешь.

Со смутной душой, с тайным разочарованием и чувством неловкости уехал я из Сергиевки. В глазах стояла картина, что возникла передо мной, когда я открыл эти самые глаза в следующую минуту, как машина остановилась: серый ослик, стоявший за створом самодельных футбольных ворот, пыльные кущи бурьяна и полыни.

Не знаю, что ощутила сестра после этой поездки в Тюлькубас, мы как-то об этом и не поговорили, но я больше не испытывал желания еще раз побывать в Сергиевке. Я уже понимал, что малая родина — это не только географическая точка, с которой связаны документально зафиксированные название местности и дата твоего появления в этом мире. Это еще что-то другое, намного сложнее и метафизически значимее, чем просто время и пространство рождения. А что другое — то было мне еще неизвестно, и я надолго перестал об этом заботиться. Я не думал больше о своей малой родине и словно бы издали, бесстрастно, без зависти, приглядывался к озабоченности и ревности некоторых своих писательских друзей-товарищей относительно малой родины, куда они время от времени ездили из Москвы, словно какие-нибудь старинные знатные дворяне в свои наследственные вотчины.

Известны знаменитые «малые родины» великих писателей: Михайловское — Пушкина, Ясная Поляна — Толстого, Тарханы — Лермонтова, Карабиха — Некрасова, Спасское-Лутовиново — Тургенева. У советских писателей довлеют их судьбам — станция Вешенская Шолохова, село Сростки Шукшина, деревня Тимониха Белова. И у моих поколенческих друзей-приятелей, у каждого, была уютная колыбель малой родины — Мезень у Личутина, Душанбе у Зульф리카рова. А у меня ничего такого не было, и моя поездка в Казахстан, в Тюлькубас, только усугубила мою проблему дефицита малой родины.

Ибо она, связанная с сакральностью твоего появления на свет в определенное время и в определенном месте, должна неудержимо притягивать к себе твое сердце и вставать перед твоим внутренним взором с неодолимой притягательностью. А село Сергиевка, Тюлькубас, откуда меня увезли навсегда в возрасте двух лет, в 1941 году, когда началась Великая Отечественная (так совпало), больше не притягивало меня к себе.

2.

Моего отца и его семью судьба и суровый ветер истории носили из края в край земли безо всякой жалости. Попутно каждый раз, на очередном привале, принуждая невольно оставлять, бросать, поспешно распродавать задешево многое из нажитого: недорогой саманный или деревянный простонародный домишко, пару тонн каменного угля в сарае, откормленного годовалого поросенка, урожай картошки на корню. Будучи учителем, отец не мог нажать каменных палат на свою ограниченную зарплату, и без дополнительного приварка от домашнего хозяйства не прокормить бы ему многодетной семьи. Работал он с самого начала трудовой деятельности в сельских школах и школах мелких поселков городского типа. А тут еще и пресловутый ветер истории, что бросал его с Дальнего Востока в солончаки Казахстана, оттуда на рыбные промыслы Камчатки, оттуда рикошетом в Уссурийский край, в деревеньку Роскошь, оттуда через год на Сахалин. И уже оттуда на пенсию — на берег Амурского залива, вблизи Владивостока. И вот в последний раз мы, его дети, перевезли отца с матушкой в городок Боровск Калужской области, где и нашли они оба вечный покой на городском кладбище, среди белых русских березок.

Нас, его детей, мотало вместе с родителями по белу свету, и каждый раз, только-только привыкнув и проникшись духом и обаянием местных стихий (по Даниилу Андрееву), мы вынуждены были вскоре срывать с места и уноситься дальше — ветер судьбы, ветер истории.

Целый ряд уникальных уголков земли мог стать дорогой для впечатлительной детской души малой родиной. Это могла быть деревенька Роскошь в Уссурийском крае, где мы прожили год. Это мог быть и поселок Озерновский на Камчатке, и городок Горнозаводск на Сахалине. И свет солнечного Казахстана, однажды вспыхнувший в моих детских глазах и не меркнувший до сих пор — в деревне с названием «Первая точка», куда привезли самых первых российских корейцев во время их насильственно-го переселения в 1937 году.

Но все эти чудесные места на земле, которые так доверчиво, так светло и радостно открылись моей детской душе, увы, не стали моей малой родиной. Ибо она, оказывается, — это не только и не столько мистические, природные стихии, нет! Это прежде всего люди, человеческие образы, это души людей, обжившие земные пространства, где царят местные духи природы.

Я к такому откровению пришел исподволь, перейдя за середину своей жизни. А земная жизнь, пройденная наполовину, пришлась на 1976 год, когда вышла в свет моя первая книга «Голубой остров».

Тогда, еще ничуть не помышляя о том, что у меня должна быть какая-то малая родина, я поехал вместе с одним человеком, строителем Сергеем Корневым, на его родину в Мещеру. Он работал в том же строительном управлении, где я подвизался на должности «художника», — то есть рисовал плакаты по технике безопасности на объектах и писал призывы и лозунги к праздникам. Серега Корнев, здоровенный парняга, однажды пригласил меня на рыбалку на свою малую родину, не определяя ее таковой, а просто — «в мою деревню». Ехать туда надо было на трехколесном мотоцикле «Урал», коим Сергей весьма гордился, а мне такая поездка с ветерком показалась весьма заманчивой. Я был тогда еще молод.

За свою первую книгу я получил баснословный, мне показалось, гонорар — пару тысяч рублей. Таких денег я раньше и не держал в руках. Чувствуя себя невероятным богачом, я купил в Серегинной деревне Немятово заброшенный домик у старушки Верочки, «Верочкину избу», как произносили деревенские люди. В этой округе «цокали» и «якали», вот образец местной речи: «У лясницка в избушке на пецке ляжала яво доцка».

В те времена купить дом в деревне было непросто, требовалось прописаться, для чего надо было выписываться с прежнего места жительства. Когда я узнал об этом, то готов был отказаться от покупки, ибо поменять драгоценную московскую прописку на деревенскую было немислимо. Но мне местная жительница, тетя Марина Самарина, бойкая говорунья с живыми глазами, подсказала следующее:

— А ты завтра утречком, пол-шастова, подойди к дому Васьки Кузнецова, секретаря сельсовета. Он тя любую бумагу подмахнет.

— Почему так рано? — удивился я.

— А потому что похмелиться надо. Ваську-ти вячор подвозют на машине, под руки в дом заволакивают, а он и ногами ня шаволит. Утром же Ваське похмелиться подавай. Сидит у дома на лавочке и дожидается. В это время к нему с бутылкой подходи, и он любую бумагу сотворит.

Я так и сделал — спозаранку подошел вместе с Верочкой к большому пятистенному дому под железной крышей. На лавочке, рядом с калиткой, сидел мордастый мужчина с бледным лицом, в обвисшей майке и, выпучив прозрачно-голубые глаза, смотрел на нас с Верочкой.

— Ну? Принес? — спросил он у меня без обиняков.

— Принес, — ответил я и показал ему бутылку с водкой.

— Давай сюда, — забрал он бутылку. — Посидите здесь, а я шас, — с тем и ушел в дом.

Мы с Верочкой сели на лавку и стали ждать. Ждали не очень долго. Вскоре он вышел уже одетый в пиджак, нахлобучив на голову зеленую шляпу.

— Зайдем сюда, — позвал он и, проведя нас во двор, усадил под яблоню на лавки за дощатый столик.

Перед нами он положил лист бумаги, на котором было что-то написано.

— Читайте, — молвил он коротко и выпучил глаза, уставившись куда-то в облака, поверх наших голов.

Это был изготовленный от руки на тетрадном листочке документ. Назывался он «Дарственная», в котором Верочка называлась «Даритель», а я «Подариваемый».

Когда, прочитав документ, в котором указывалось, что даритель дарит, а подариваемый принимает за триста рублей дом, я протянул бумагу старушке, она отмахнулась и сказала:

— Верю и так. Василий Ягорыч, ты ж не омманешь?

— А то, — ответил Василий Егорович. — Чаво мне вас омманывать. Подпишитесь оба, и дело с концом.

Мы подписались, Василий Егорович вытащил из кармана пиджака круглую печать, подышал на нее и с размаху шлепнул по бумаге, освятил документ советским гербом, с серпом и молотом.

— Теперь эта сторона расплачивайся с этой, — показал Василий Егорович пальцем на меня, потом на Верочку.

Я выложил на стол три новенькие купюры из первого в моей жизни гонорара за книгу. Старушка посмотрела неуверенно, подозрительно на сотенные и обратилась к Василию Егоровичу:

— Васенька, а наши ли это деньги?

Было понятно, что Верочка никогда не видела столь крупных купюр. Василий Егорович покрутил в руках деньги, затем бросил их небрежно на стол и молвил:

— Ня видишь разве, Ленин нарисован, значит наши.

Видимо, сам секретарь сельсовета тоже не видел сотенные купюры, но здравый смысл и политическая смекалка придали ему уверенности.

Так я впервые в жизни стал домовладельцем. Первым делом открыл избу. Отодрал от окон и входной двери старые доски, коими были они заколочены поперек, вкривь и вкось — и зашел в избу... В лицо дохнул застарелый воздух закрытого помещения, пропитанный холодным угаром остывшей печки. И показалось мне, спугнутый домовый шарахнулся от двери в дальний угол, под завесу паутины.

Я взял в руки пилу и молоток и принялся восстанавливать провалившиеся ступени на крыльце. Заготовив доски из подручного материала, поехал в местный магазин за гвоздями.

Когда вошел, толпа людей у дальней стены враз повернула ко мне головы, и любопытствующие глаза в упор уставились на меня. Магазин на селе был чем-то вроде английского клуба, где джентльмены собираются, чтобы выпить по стаканчику и обсудить кое-какие дела. В стороне же от короткой очереди стояли вперемешку и мужики, и бабы, и мне показалось, что они и выпивали вместе, — стаканы с налитой водкой стояли на столике, а смешанная толпа гуртилась возле него.

От этой толпы вдруг отделилась маленькая старушка, ростом с девочку, с синими-синими глазами. Подойдя ко мне и глядя снизу вверх (а я сам-то невысокого роста), старушка спросила:

— Парень, а парень, ты яврей?

Вопрос озадачил меня, почему это «яврей», неужели похож? Но тут я догадался, что попал в такую глухомань, где даже толком не знают, как выглядят евреи, если даже на азиата подумали.

— Нет, бабка, — отвечал я. — Не еврей. Кореец я.

— А это кто такие? — оживилась бабка еще более прежнего. Глаза ее так и полыхнули сапфирным сиянием.

— Есть такие, — примиряющее сказал я.

— А-а-а! — вдохновенно затынула она и затем выдала нечто неожиданное: — Знаю я, это ваших показывали по телевизеру. Вы у себя там ходите голышом и от земли червячков подбираете и кушаете.

От растерянности я не сразу нашелся, что ответить, и только пробормотал:

— Нет, бабка. Это не наших показывали. Мы уже давно не ходим голышом.

Так я впервые встретился с людьми, с которыми мне пришлось быть в добрососедских отношениях более четверти века. С которыми сблизился настолько, что породственному радовался при встречах и скучал, надолго расставшись. И они, жители Нямятова, относились ко мне и всей моей семье как к своим, деревенским.

В деревне коренным жителям принято было давать разные прозвища, что вызвано было одинаковыми фамилиями старинных родов и необходимостью различать однокоренных друг от друга. В Нямятове было несколько Кузнецовых, Лобзовых, Власовых. В соседнем Норине даже такой редкостной фамилии — Пушкин — было два человека, и оба — бобыли, один киномеханик, другой столяр, мой хороший друг. У нас же в Нямятове один Кузнецов был по прозвищу Маречкин, другой Баринов, один Жуков был «Пан Зюзя», другой — «Девятилетний мальчик». Последнее прозвище относилось к маленькому, щуплому старичку, в прошлом хорошему мастеру—плотнику, уважаемому в деревне человеку.

Прозвище его было связано с классикой, а конкретно — с Чеховым, с его рассказом «Ванька Жуков», который начинается так: «Ванька Жуков, девятилетний мальчик...» — и получился из Ивана Ларионовича Жукова «Девятилетний мальчик...»

Меня сначала, с явным азиатским обликом человека, прозвали — «Чурек», то есть узбекская лепешка, и таковым я проходил года два, пока меня не прознали и не привыкли ко мне. Потом некоторое время я проходил с прозвищем «Кореец нямятов-

ский» — в отличие от человека, которого до моего появления в этих местах, в соседней деревне Норино, также прозвали Корейцем. Причины тому я не узнал, хотя мужик, на мой взгляд, никакого корейского обличия не имел. Затем, спустя солидное время, за мной закрепилось прозвище Писатель.

И лишь в последние годы, по двадцатилетней жизни в Нямятово, я был там без прозвища — просто Ким, просто Анатолий Андреевич. Это значило: я стал там окончательно своим, весьма уважаемым человеком.

Мое писательское достоинство и значение в деревне, мне кажется, для его реальных жителей осталось неведомым. Мои мудреные книги, всякие опусы «современной мифологии», «полифонической прозы», «синтез ориентальных и западных симулякров» или чего там еще осталось для добрых моих односельчан вовек неизвестным, слава Богу, и меня они принимали только в соответствии моих человеческих достоинств. Когда я однажды спросил у своей ближайшей задушевной подруги, бабы Марины, за какого человека меня здесь принимают, старушка ответила:

— А ни за какого. Целовек как человек. Чужого ня возьмет, своего ня отдаст. Семей живет, ничяво плохого никому не делает, ну и ничяво хорошего. Такой же, как и все. Хороший человек, чяво там.

А относительно моего писательства с моими деревенскими друзьями иногда возникали серьезные конфликтные ситуации. Я написал большой рассказ про Михаила Трофимовича Лобзова, своего первого в деревне знакомого, у которого останавливался в тот самый приезд туда вместе с его племянником Корневым Сергеем по прозвищу Бахом. Михаил Трофимович, в прошлом и секретарь сельсовета, и председатель колхоза, который «спилси» и пребывал в ранге рядового колхозника, слетев со всех своих постов, пить не бросил и пил по-черному вместе с женой Дусей. Я стал свидетелем тяжелых сцен семейного пьянства, не дай Бог увидеть такое. И когда я поздней осенью уезжал из деревни, у меня был такой разговор с Михаилом Трофимовичем:

— Ты же грамотный человек, Михаил Трофимович, на войне в СМЕРШе воевал, был в офицерском звании. Врагу не дал себя убить, неужели бутылке дашь себя угробить? — говорил я, желая как-то поддержать его. — Ну и как ты думаешь, что тебя ожидает, если будешь продолжать так вот пить?

— А что тут думать, тут и думать нечего, — ответил он. — Бугор меня ожидает.

«Бугром» в деревне, как уже сказано, называли большое кладбище соседнем селе Колесниково, где на возвышенном месте, поросшем красным лесом, меж вольно разбежавшимися корабельными соснами располагался общий погост нескольких деревень округи.

На прощанье мы крепко обнялись с Михаилом Трофимовичем, и я с тяжелым сердцем ушел из его дома.

А уже на исходе зимы я встретился в Москве с его племянником Сергеем Корневым, и он меня ошаршил неожиданной новостью:

— Пишут из деревни. Дядька-то мой бросил пить. Напрочь завязал! Всю осень не пил, всю зиму. Сенсация на всю округу! Все гадают, насколько его хватит. Додержится ли до весны? А если додержится, выдержит ли Оку летом?

Испытание Окой заключалось в том, что на приокских заливных лугах, в десяти километрах от совхоза были за ним закреплены участки покоса, и туда отправляли мужиков косить вручную — косилки не годились на крутых буграх и впадинах. И там, на лугах, мужиков ждала райская жизнь. Из совхоза возили им баранину тушами, ящиками водку — от пуза. Работа была очень ответственная и важная для совхоза, трава на заливных лугах была отменная, и ее было — сколько возьмешь. И совхозное начальство не жалело водки для мужиков — ради поддержки ударного труда.

Вот об этом и говорили: выдержать Оку. Летом, как только приехал в деревню,

я отправился вместе с женщинами совхоза на Оку, они — ворошить граблями и сушить сено, я — навестить Михаила Трофимовича.

Мы на грузовике приехали в обеденное время, женщины с граблями живо разбежались по лугу ворошить сено, мужики тут же уселись в кружок на зеленую травку, перед каждым была исходящая паром миска ухи и стояла на земле бутылка водки. Михаила Трофимовича среди мужиков я не увидел. Мне сказали, что он отдыхает в своем «салаше».

Лагерь косцов располагался на берегу Оки среди кустов шиповника и зарослей тальника. Построены были райские шалаши из свежего сена, таким же сеном была устлана вся площадка лагеря. Я нашел Михаила Трофимовича у его «салаша», он лежал на пузе и почитывал книжечку...

— Ты что не сидишь с мужиками? — спросил я, когда мы поздоровались и он отложил книжку в сторону. — Ящик водки привезли, сам видел.

— Не понимаю, как такую заразу пьют, — без всякой рисовки спокойным голосом произнес Михаил Трофимович.

— И ты что, отказался от водки? — спросил я.

— Зачем отказываться, раз привезли. В сено под салаш засунул. Там у меня уже бутылок шесть накопилось, — сообщил Михаил Трофимович. — Хочешь, налью тебе?

— Нет, не хочу, спасибо, — отказался я. — А что ты будешь делать с этой водкой?

— Мало ли что. Водка на деревне всегда пригодится. Осенью картошку выпахать из земли, трактористу пару бутылок. Дровишек с делянки привезти — еще бутылка. У нас бутылка за валюту идет, за всякую работу можно рассчитаться.

В общем, я убедился, что Михаил Трофимович «выдержал Оку» и фундаментально завязал с пьянством. Это было героическим поступком для человека, который окончательно и бесповоротно «спилси» было. Подвиг его стал широко известным по всей округе и вызвал душевный подъем у всех, особенно у женщин, чьи мужья, сыновья и братья окончательно спилились и потеряли всякую полноценность — и социальную, и семейную, и трудовую. Безобразие и зло пьянства на селе было сродни непреходящей эпидемии, захватившей почти все мужское население, и подвиг Михаила Трофимовича, враз и окончательно бросившего пить, стал для женщин, беспросветно страдающих от пьянства своих мужчин, явлением истинного чуда. А Михаил Трофимович стал чуть ли не святым, во всяком случае — безупречным и любимым героем всех измученных женщин, у которых зеленый змий отнимал мужей и сыновей. Да и самих жертв змия, не имеющих сил освободиться от его мистической власти, но в душе желавших этого, пример Михаила Трофимовича приводил к глубоким размышлениям. Однако его подвиг остался единичным по всей нашей округе, и последователей его что-то не появилось.

Я написал об этом, хорошо зная материал, большой рассказ, изменив имя главного героя, и напечатал его в журнале, затем поместил в сборник рассказов. Книга попала через Сергея по прозвищу Бахом в руки Михаила Трофимовича, он прочитал рассказ, и реакция его была для меня самой неожиданной. Он перестал со мной здороваться. Встречаясь на деревенской улице, издали увидев меня, переходил на другую сторону. Это меня и расстроило, и удивило, и даже обидело. Рассказ удался, в нем все было правдиво, обстоятельства деревенской жизни, постепенно, насовсем уходившие вместе со старыми людьми, были переданы автором бережно, с любовью. Картины природы, река Ока, на залильном берегу которой происходило праздничное, яркое действо сенокосной страды, — все было исполнено хорошо. Я был горд одним из своих лучших рассказов из серии «Вкус терна на рассвете». И тут вдруг такая странная реакция со стороны Михаила Трофимовича. Притом, что где-то в глубине души я мог предполагать: внезапное преображение, или спасение, или воскресение — как угодно называй эту значительную перемену в человеке — можно связать с тем

нашим с ним разговором поздней осенью... Ничего в этом предположении фантастического не было.

Вообще я должен сказать, что отражение деревенской жизни в моих литературных опусах, рассказы о людях деревни вызывало у них самих порой неадекватную реакцию. Узнавание себя в моих произведениях — с измененными именами или подлинными — вызывало в них какое-то протестное чувство. И это сильно огорчало меня. Похоже было на то, что ты делаешь любовное признание, а в ответ получаешь недоверчивое и даже неприязненное, глухое ворчание. Или обидные слова.

3.

Вот пример. В деревне у меня сложились неплохие отношения со старыми ее жительницами, ближайшими моими соседками. Все они были военными вдовами, состарились в колхозном крепостничестве и поднимали своих детей одни, без мужей. Перечислю их поименно и по прозвищам: баба Марина Самарина, Большая Поля, Глухая Поля, просто Поля, с ударением на последнем слоге, Надежка Жукова, Настя, Зинка Райчиха, Матрена.

Марина и Настя были моими закадычными подругами, как-то осенью я с ними ходил за калиной. Настя вырубилась себе и мне по отрасли калины, мы посадили их у себя во дворе, и они прижились.

И вот Настя умерла. Умерла в Рязани, куда ее увезли дочери и положили в больницу. Хоронить привезли на родину в деревню. Я был на ее похоронах, потом, годы спустя, написал об этом светлый, печальный рассказ, в котором портретно точно описал ее подруг, приходивших ее хоронить: Марину, Полю-большую, Надежку. Рассказ «Настя» был напечатан в журнал «Сельская молодежь» и где-то в Казахстане попал на глаза выходцу из соседней деревни Норину, летчику сельскохозяйственной авиации. Он узнал в героинях своих землячек — они были под своими именами, и когда приехал домой на побывку, зачитал в сельском магазине этот рассказ. Мужики из Немятова были на этом чтении, и потом Михаил Михайлович Власов по прозвищу Крыч со своими комментариями сообщил старушкам, что Ким «прописал» их в прессе, и с ехидцей пересказал все портретные характеристики, которыми автор наделил героинь рассказа, сильно исказив их в карикатурную сторону. И когда весной я приехал в деревню, увидел на улице тетю Марину и подошел к ней поздороваться, она вдруг отвернулась и заковыляла прочь на своих кривеньких ногах. Я ничего не понял и пошел за нею с возгласом:

— Тетя Марина! Ты чего это убегаешь от меня?

Она остановилась и, повернувшись ко мне, строго произнесла:

— А то не знаешь, чаво?

— Чего, все-таки, тетя Марина? — вопрошал я, ничего не понимая. — В чем дело?

— А того... Как будто и не знаешь, Натоллий. Ня стыдиси.

— Ну не знаю, ей богу. Скажи! — взмолился я.

— И скажу, а ты слушай, коли у тебя совесть есть. Ты чаво это прописал нас в журнале-ти? Чаво мы тебе сделали, что ты нас в прессу поместил?

И только тут я понял, что речь идет о рассказе «Настя» в журнале «Сельская молодежь».

— Вот мы остались после войны без мужей, одни детей поднимали. Всю жизнь жили бедно, ничаво хорошего, кроме нужды, не видели. А ты взял да и прописал нас. За что, парень? Чаво мы тебе плохого сделали?

Я попытался объяснить Марине, что ничего плохого я не «прописал» в журнале, что в рассказе его героини предстали как живые, что они изображены с большой любовью.

— Придет время, мы все умрем, а книга останется, и люди будут читать ее и увидят

вас как живых, таких хороших, добрых, и вы будете словно бессмертные, — разглагольствовал я, стоя перед старушкой.

— Это как же ты хорошими нас прописал? Разве так по-хорошему прописывают людей в прессе-ти? — прервала мое красноречие Марина.

— А что плохого я написал? — недоумевал я, вспоминая добрый, задушевный подтекст своего короткого, самого лучшего рассказа из деревенского цикла.

— А то! — сердито ответила старушка. — Про меня написал, что у меня ноги кривые. Ну ладно, какие уж уродились. В девках все глаза проплакала из-за этого. (Я вспомнил: «Впереди на выгнутых вроде коровьих ребер коротеньких ножках переваливается с боку на бок Маринушка, Марина Осиповна...») Да замуж все равно взяли, и детей народила. А вот про Полю-то Большую что написал?

— А что такого особенного написал? Ну, что она огромная, с большим животом, нависала над вами, как башня, — вспоминал я. («...замыкала шествие очкастая Поля с большим животом...»)

— Ну, что Польша большая да пузатая — это всем видно, тут ничаво особенного... А что ты ишшо написал?

— Ну что еще такого написал? — уже начал отчаиваться я.

— Про глаза-то что написал?

— Про глаза? А что такого особенного про глаза?

— А то... Что глаза у нее, как у черта или совы.

— Да кто тебе сказал?! — в отчаянии вскричал я.

— Нашлись такие, кто читал... Крыч сказал!

И тут я вспомнил: «...глаза за стеклами очков совиные». И понял, что оправдаться не смогу, и Бог надоумил меня — я брякнулся перед бабушкой на колени и взмолился:

— Ну, прости меня, Марина Осиповна, ради Христа!

— Вот так-то бы и сразу. А то давай тут городить про умерших да бессмертных-ти... Я-то тебя прощаю, Натолый, а вот иди, проси прощения у Польки. Простит ли она! — завершила Марина свою отповедь.

И я пошел просить прощения у Поли-большой. Она стояла у своего дома под большим тополем и, задрав голову, смотрела куда-то наверх. Я подошел, она словно бы и не видела меня.

— Прости меня, тетя Поля, — ничего не объясняя, сразу же покаянно провозвестил я.

Она ничего не ответила, словно и не слышала, не повернулась ко мне и ушла через калитку в свой двор. Я понял, что не прощен, и в унынии удалился в свой домик, через дорогу.

Зашел к себе, разобрал свои вещи из рюкзака, вытащил бумаги и разложил на столе. И вдруг — о радость! — услышал тонкий голосок Поли-большой, еще одно ее прозвище было — Пищуха... Она позвала меня с улицы:

— Натолый!

— Чего, тетя Поля? — распахнув окно, высунулся я.

— У тебя есть лестница? — спросила она.

Она знала, что лестница у меня есть, а то, что спросила про нее, означало только одно: добрая старуха простила меня.

— Есть, тетя Поля! — ответил я. — А на что тебе она?

— Да ветку-ти надо отпилить. От дерева отдралась и понависла над двором. Того и гляди свалится на голову, — объяснила она.

— Ты иди, Поля, а я сам лестницу принесу и ножовкой ветку тебе отпилю! — с великим облегчением решил я, выскочил из дома и все сделал, как пообещал...

Эти немятовские старухи, столь великодушно умеющие прощать, не смогли бы прожить на свете, наверное, если бы не умели так по-христиански, по-русски прощать обиды, наносимые им жизнью, судьбой, своей родимой страной. Лет с тридцати —

тридцати пяти оставшиеся военными вдовами, вырастившие без мужей по двое, по трое детей, которые, достигнув взрослого возраста, разбежались по белу свету, оставив постаревших матерей в одиночестве доживать свой век. У Поли-большой было двое сыновей, один из них в пьяной горячке повесился в сарае, а второй ударился в бега и исчез где-то в просторах бескрайней России, не давая о себе знать.

Все мои постаревшие соседки-подруги, возрастом почти вдвое старше меня, уже давно умерли, по очереди проводив друг дружку на то самое, высокое Колесниковское кладбище, на Бугор. И там, наверное, обрели свой рай как святые мученицы. Пусть не канонизированные, но подлинные праведницы у Господа своего. Ибо все они прожили чистую жизнь, прошли через нее как дети, не принеся миру зла и обиды. А если и обидели, то умели просить прощения, и сами прощали.

То же самое и мужики. Еще одно свидетельство отношения к моей писательской деятельности явил немятовский мужик по прозвищу Косоротый, по гражданскому имени Иван Степанович Бурмистров. Это был высокого роста сутулый, как лось, костлявый страховидный мужик с густыми бровями, ругатель и матерщинник. Напившись пьян, он устраивал скандалы с соседями, по дороге домой из магазина останавливался у какого-нибудь дома, где жил враждебный ему человек, и начинал «орять», как говорили деревенские. Произносил какие-то грозные выкрики хриплым голосом, впрочем, кроме мата, совершенно невразумительные в силу его фронтального увечья. Он воевал на дальневосточном фронте и где-то у озера Хасан получил страшное ранение в лицо, в результате которого рот его был искажен, жутко перекошен, из-за чего и было его некрасивое прозвище. Бурмистрова в деревне не уважали и, несмотря на его героические амбиции — «Я шражался в боях на ожере Хасан, беспощадно бил врага в рядах Красной армии», относились без всякого почтения и избегали.

Ко мне он отнесся враждебно с самого начала, однажды подошел на улице и, загородив путь, строго спросил:

— Можешь ты шказать, имеча у тебя аккредитация, чтобы жить ждесь, — что означало, есть ли у меня, иностранца по виду, аккредитация, то есть документы на право жительства в его родной деревне Немятово.

Я ничего не ответил Бурмистрову, молча спихнул его в сторону с пути и пошел дальше своей дорогой. С этого случая я стал еще одним из многочисленных его недругов, на которых он мог «орять», стоя напротив окон их дома, когда после возлияний в сельском магазине возвращался домой.

Однажды теплым летним вечерком, когда я, забравшись на лестницу, конопатил паклей бревенчатый сруб своей избы, а дети деревенские и моя младшая дочь среди них возились на зеленой травке за углом, Бурмистров остановился и обратился ко мне со своей грозной филиппикой:

— Есть у тебя аккредитация? Не имеешь права жить у нас, если нет ее...

И все это сдабривал таким чудовищным матом, что я испугался за детей. Соскочил с лестницы и с тяжелой деревянной колотушкой-киянкой в руке подскочил к нему. Он приготовился драться, состроил зверскую рожу на своем перекошенном лице. Моя дочка испугалась, громко заплакала, хватаясь за меня. И я опомнился, отступил и унес ее в дом. Все это случилось на глазах у многих жителей, и я позвонил парторгу совхоза, просил у него найти управу на хулигана. Бурмистрова вызвали повесткой в районную милицию и оштрафовали.

С этого дня мы стали лютыми врагами. Иван Степанович при встрече на улице, наедине, сказал мне:

— Ну, теперь держися. Не встречайся мне на грибной дорожке в лясу.

Все было нормально. Я был принят в деревне за своего. У меня появились друзья, появились и враги. Все путем, как говорили мужики.

Но вот какая вышла концовка нашей с ним вражды. Очередной весной я приехал в Немятово и узнал, что зимой умер Бурмистров, рак желудка сразил его. Рассказыва-

ли, что его жена, которую он гонял и колотил каждый раз, когда напивался пьян, которая была почти наполовину меньше его ростом, носила его, страшно исхудавшего, на руках по дому, обихаживая.

И начал Иван Степанович, ставший тихим и кротким перед смертью, звать к себе в дом тех, кого он обидел, и просить у них прощения. А так как обиженных было очень много, у него побывала вся деревня, и все Христа ради простили его.

И вот он вдруг попросил, чтобы ему принесли какую-нибудь мою книгу. У Николая Васильевича Федина, учителя, были мои книги, и он отнес ему сборник повестей и рассказов «Четыре исповеди». Сказали мне, что Иван Степанович подержал в руках книгу, но читать не стал, отложил в сторону и только молвил:

— Передайте Киму, что прошу у него прощения.

Так, перед его смертью, мы заочно помирились.

На этом мою повесть о том, как я искал свою малую родину и нашел ее, можно было бы и завершить, но такой финал был бы шаблонным, литературным, отнюдь жизненно не достоверным. А жизненная достоверность оказалась намного сложнее и вовсе не такой благообразной.

Да, малая родина, оказалось, — это не географическая точка, зафиксированная в документах как место твоего рождения. Да, это прежде всего и главным образом — люди, которых ты узнал и полюбил, и они тебя узнали, приняли и, может быть, даже полюбили как своего. И никаких твоих заслуг перед ними не понадобилось для этого, и никакого понимания и приятия твоего творчества не произошло. Но произошло исподволь, незаметно, тихим подходом настоящее, удивительное чудо.

Я в Немятово написал сценарий по заказу студии «Казахфильм», это был рассказ о моем послевоенном детстве в Казахстане. Сняли фильм под названием «Сестра моя Люся». Это была первая моя киноработа. Картина дебютировала с успехом в Алма-Ате и Москве, и я привез ее в кассетных банках в деревню (тогда фильмы снимались на кинопленку), решил показать своим стареньким подругам. Рассказ был о послевоенных вдовах, оставшихся с детьми без мужей, погибших на фронте.

Я договорился с киномехаником Пушкиным Володей и вечером повез банки с бобинами кинофильма в норинский клуб. Пригласил Марину, Настю и Полю-большую, посадил в «Ниву» и отправился с ними в клуб с великим волнением. Народу пришло довольно много, но сеанс прошел неудачно. Окна в клубе не были зашторены, вечернего свету еще было много, и на замызганном экране почти не было видно изображения. Свой фильм я угадывал только по звуку, по знакомым репликам героев да по музыке. И народ смотрел кино без особого внимания, шумел, ходил по залу. А посреди картины наш немятовский мужик, тракторист Никита Иванович Лобзов, мой друган Никиток, пьяница тот еще, который не раз приходил ко мне по утрам, просил хотя бы стаканчик «ополосочков» и получал не ополосочки, а полноценный «гранененький», — Никиток вышел к экрану и, обернувшись в залу, произнес:

— Показывают тут всякую ...ню! Смотреть нечего! — и демонстративно покинул клуб.

Когда кино закончилось, я забрал банки с пленками, усадил старух в машину и в невеселом настроении поехал в Немятово. Я молчал, старухи молчали. Наконец я не выдержал и спросил:

— Чего-нибудь увидели? Светло было очень в клубе. Наверное, ничего не поняли?

— А чяво ня видели? Все видели, — заговорила Марина. — Отлично все видели. Все поняли, ня глупые же.

— И что? Понравилось? Не понравилось?

— А ня понравилось, парень, — был ответ.

— Почему не понравилось? Что было плохого? — попытался я.

— А чяво хорошего? Ничаво хорошего. Все про нашу жизнь как она есть. А чяво

хорошего в нашей жизни было? Да ничяво хорошего. Все одни слезы да обиды. Словом, колхоз «Нужда», — завершила критику баба Марина.

И степенная Настя добавила:

— Мы про нашу жизнь сами все знаем. Нечаво про нее показывать. Ты бы, парень, лучше индийскую кино нам показал.

И тут я понял, что услышал высочайшего уровня критику, удостоился самой великой похвалы. Оказывается, я сумел создать кинопроизведение истинно народное. Рассказав о своем послевоенном детстве в Казахстане, полном чудесных радостей, светлых надежд, горя горького мальчишеского вперемешку со сладкой любовью материнской, сестринской, я смог передать надежды и радости, и затаенную в будничной череде дней любовь человеческую, и любовь божественную к нам ко всем. И сумел слиться, раствориться в духе самых скромных, самых истинных коренных жителей этой земли. И это духовное слияние с людьми безвестного населенного уголка Земли, крохотной деревушки с названием Немятово — и местность, и селение, и люди в нем — все это и является малой родиной в пределах Большой родины, которая называется Земля.

Эпилог

Я об этом узнал, живя в Корее, — что моя малая родина находится в крохотной лесной деревне с названием Немятово. Почти пять лет я прожил недалеко от Сеула, в городке Ансонг, где преподавал русский язык и литературу в университете. За это время развалился Советский Союз, в Москве произошли события, которых и предположить было нельзя, горело правительственное здание на Конюшковской, расстрелянное из танковых пушек, танки были направлены действующим президентом.

Я жил в Корее благополучно, с семьей, мне были созданы прекрасные условия, историческая родина достойно оценила тот факт, что я стал известным русским писателем, переведенным на многие языки мира, и тем самым возвысил статус корейского человека в мире. В России же, окруженной со всех сторон новыми самостоятельными государствами, образованными из вчерашних советских республик, ныне не очень дружественными, а порой и явно враждебными, — в России было нехорошо. Когда я приезжал в Москву на каникулы (в системе высших школ Кореи они два раза в году, летом и зимой), я видел ужасающие, фантазмагорические картины, похожие на сцены из фильмов-катастроф. Толпы нищих бомжей на улицах, площадях у вокзалов, мертвых людей в подземных переходах...

И когда мой четырехгодичный контракт в университете подходил к концу, я стал задумываться, а не продлить ли мне его еще на некоторое время... К тому же корейские друзья мои стали заговаривать со мной о возможности получения гражданства в Республике Корея.

Я начал задумываться и на эту тему. Возвращаться на великую Родину, откуда я уезжал в Корею, было невозможно — ее просто не было. На свою фактическую родину, в Казахстан, тоже невозможно — это была уже отдельная независимая страна... Последний год в Корее был для меня тревожным и беспокойным.

Однажды я вел занятия в университете, повернулся к доске с мелом в руке, чтобы написать какую-то русскую фразу по теме занятия, — и вдруг застыл на месте с поднятой рукой... Никакой фразы я не написал, а молча отошел к окну и стал смотреть на внутренний двор университета. Там стояли гипсовые скульптуры обнаженной натуры: двор находился напротив соседнего кампуса, где располагался художественный факультет университета, скульптурное отделение... Я тупо смотрел на мертвые гипсовые фигуры и не видел их.

А видел я, грезя с открытыми глазами, мостик через лесную речку Куршу,

дорожку, выходящую к ней со стороны леса и плавной дугой удаляющуюся за мосток к деревне Немятово... Два белых новых бревнышка на краю мостового настила. Был спуск к воде, возле которой лежал, наполовину уйдя в землю, кусок лесины. Я разулся, сняв резиновые сапоги, и погрузил разгоряченные усталые ноги в холодную воду речки...

Корейские студенты, народ весьма дисциплинированный и безмерно уважающий своих профессоров, сидели совершенно тихо и смотрели на меня, иностранного сенсея, серьезно и даже, как показалось мне, с большим сочувствием.

В ту минуту я окончательно и бесповоротно решил, что вернусь в Россию, в Корею не останусь... И когда меня вскоре на телевидении в прямом эфире спросили, что я скажу, если мне предложат корейское подданство, я ответил следующее. У любого человека имеются двое родителей, это отец и мать. Отец мой — Корея, во мне вся кровь до последней капли корейская. А мать — Россия, ибо дух мой воспарился в русском мире, и сознание мое образовано русским словом. Волею судьбы оба моих родителя живут в разных местах, так с кем же из них мне предпочесть жить на земле? — Так ответил я.

Что же вы решили, спросили у меня, каково ваше желание?

Мое желание таково, ответил я: хотелось бы жить, свободно навещая каждого из родителей, когда мне захочется кого-то из них увидеть.

Что же, уехав из Кореи и вернувшись в Россию, я так и живу до сих пор. Но с малой родиной случилось непредвиденное. Пока я пять лет жил в Корею, а потом, вернувшись в Москву, еще на семь лет уехал в Казахстан, чтобы исполнить государственный заказ и сделать новые переводы на русский язык книг казахских классиков — Абдижамила Нурпеисова, Абиша Кекильбаева, Мухтара Ауэзова, Оралхана Бокеева — пока судьба меня мотала, словно сорванный лист, по всему миру, я почти не заглядывал в Немятово. И за это время один за другим ушли все те, кого я полюбил на этом клочке мешерской земли. И теперь, возвращаясь к своему тезису, что малая родина — это прежде всего люди, с которыми сроднился на некоем уголке земли, а не сама эта земля, и на ней родилась необоримая, необъяснимая, непреходящая любовь к людям, которые смертны, как и все мы, и которые тихо ушли один за другим на Бугор, — я спрашиваю: есть ли теперь у меня малая родина или нет ее?

Недавно я был в Немятово. Из всех моих друзей-соседей я застал Николая Васильевича Федина, учителя, да соседку напротив, через улицу, тетю Тоню Бычкову, девяноста лет.

Мой домик, отделанный моими руками, стоит полуразрушенный, входная дверь раскрыта, не закрывается, окна веранды выбиты, и кто-то ради бога заколотил их старыми горбылями, не пожалел гвоздей.

Я стоял перед своим домом, окруженным дикой стеной темной крапивы и чертополоха, и мучительно, и печально думал: так есть ли у меня малая родина или нет ее?

И ответил самому себе: да, малая родина есть у меня. Она глубоко и навсегда в моей душе. Она в моих деревенских рассказах из книги «Вкус терна на рассвете». В моих романах и повестях. И сколько этим рассказам, романам и повестям жить на свете, столько и будет стоять на земле моя малая родина, глухая лесная деревушка Немятово.

Вадим Муратханов

Город дырявых теней

«Малых» родин у человека может быть несколько. Особенно если отец у тебя военный и ты меняешь школы и города каждые два-три года.

Одной из таких родин стал для меня Небит-Даг. Не случись в моей биографии этой туркменской страницы, детство мое было бы иным, да и сам я тоже.

Небит-Даг — «нефтяная гора». Хребет Большой Балхан вздымался едва ли не в километре от окраинного микрорайона, прямо посреди пустыни, из ничего. Ряд горбатых темно-коричневых громадин с «балкончиком» на переднем плане. «Балкончиком» называли гору в форме усеченной пирамиды — настолько правильной, что она казалась рукотворной. С ее плоской срезанной вершины, должно быть, открывался идеальный вид на город, отстоящий на сотню километров от Каспия и на несколько десятков — от ближайшего населенного пункта.

В послесоюзное время город переназвали: Балканабат. Гора из названия никуда не делась.

За прожитые в Киргизии годы мне привычнее было видеть, как желто-зеленая густонаселенная долина укромно прячется в ладонях тяньшанских отрогов. Киргизская столица плавно перетекала в одноэтажные предместья, окруженные деревнями, которые во всех направлениях пересекались автотрассами и бурными горными речками.

Здесь же, на западе Туркмении, случайный осколок копетдагских гор возвышался над городом, не защищая его ни от ветра, ни от жары, в торжественном и бессмысленном великолепии. Заносимое песком шоссе обтекало горы и не обещало никакой близкой цели.

Через несколько километров езды по трассе, вдоль которой тянулся наполовину занесенный песком газопровод и возвышались нефтяные вышки, путника встречал памятник первопроходцам. Укрывающиеся от ветра, сгорбленные бронзовые фигуры вели в поводу верблюдов. Вокруг лежала пустыня, все так же продуваемая ветрами, и при взгляде на композицию ты понимал, что за прошедшие с возведения памятника десятилетия ничего здесь не изменилось.

Вокзала в городе не помню: уехать из Небит-Дага было нельзя.

Когда живешь лицом назад, новое время нужно лишь для того, чтобы отойти от прошлого на достаточное расстояние и разглядеть. Ткешь из себя, как паук, анфилады покинутых комнат.

В занесенную песком комнату Небит-Дага, где мерно гудит никогда не выключаемый кондиционер с рыжей от ржавчины решеткой, заглядываешь в последнюю очередь.

Вадим Муратханов — поэт, прозаик, эссеист. Родился в 1974 году в г. Фрунзе, в 1990-м переехал в Ташкент, окончил факультет зарубежной филологии Ташкентского ГУ. Один из основателей объединения «Ташкентская поэтическая школа». Выпустил пять поэтических сборников. Постоянный автор «ДН». Живет в Подмосковье.

Летом с позднего утра до вечера город вымирал. Люди сидели по квартирам, под круглосуточно работающими кондиционерами. Можно было дойти от госпиталя до центральной площади — и никого не встретить. Ни птиц, ни собак, ни прохожих. Только линялый розовый флаг чуть шевелился над белокаменным зданием администрации.

Деревьев в городе почти не было — кроме маклюры. На ветках, покрытых мелкими листьями и колючками, висели зеленые морщинистые шары, больше напоминавшие диковинные резиновые игрушки, чем живые плоды. При ударе они сочились горьким липким молоком. Играть в футбол этими увесистыми снарядами можно было только после того, как они усыхали. Из них же школьники делали импровизированную лягу — выдрал из плода и высушив волокнистый клочок. Потом подбивали его стопой и так, и сяк. Не хуже, чем фрунзенские ребята — отягченный свинцом клок шерсти.

Однажды на перемене Денис Александров убежал от нас и залез на вершину маклюры, росшей на школьном дворе. Мы стали раскачивать дерево в надежде стряхнуть одноклассника. Дерево повалилось вместе с Александровым, обнажив хилые до неприличия корни.

А светофор в середине 80-х на весь город был один, обращенный к проезжей части, не к пешеходному переходу. Поэтому все небит-дагские школьники были убеждены, что переходить дорогу надо на красный.

Снег выпадал не каждую зиму. Когда это происходило, занятия отменяли, школьников выпускали во двор. Все бросались к белым, еще не растаявшим и не растоптанным островкам, уцелевшим на бетонном крыльце, на крышах машин. Снега хватало от силы на час. Когда бросаешь снежок в одноклассника, жалко тратьте его, особенно если мажешь.

После фрунзенского детства с образцово-показательной школой и улицей, безопасной благодаря многочисленным двоюродным старшим братьям, для меня без всякого перехода наступило отрочество. Я не сразу понял, что предстоит выживать.

Школа жила по блатным, полукриминальным законам, за соблюдением которых следили детдомовцы и несколько старшеклассников-туркменов.

Вот они сидят на корточках у школьных ворот, в дырявой тени маклюры, и горе салаге, которого подзовет один из них небрежным кистевым жестом.

Одноклассники списывали у меня на контрольных и дразнили «выделяльщиком» и «зачитанным». Хорошо учиться здесь было не принято. Только на второй год учебы, когда ко мне немного привыкли и смирились с моей успеваемостью, меня стали звать Тушканчиком — потому что дальше всех прыгал с места на физкультуре.

А вот Иру Петрову, которая считалась первой красавицей в классе, пацаны называли Педро.

Чуть ли не в первый свой учебный день я наговорил ей наивных книжных комплиментов. На большой перемене, когда я проходил мимо, Ира с негромким «ах» прислонилась ко мне спиной. Как распорядиться этим подарком фортуны, я еще не знал, будучи искушен в литературе гораздо больше, чем в вопросах пола.

Неприятности ожидали меня после уроков. Выйдя из школы, я заметил позади толпу одноклассников. Мальчики и девочки молча сопровождали меня на расстоянии двадцати шагов. Пряжки от портфелей сверкали на солнце. Самым страшным было ожидание: мне позволили дойти до дома и захлопнуть за собой дверь квартиры. Ждать развязки пришлось до следующего утра.

Перед уроком физкультуры Рома Ильин честно предупредил, что будет «бодаться» со мной за Педро. Мне вовсе не хотелось добиваться Петровой, тем более ценой драки. Наверное, поэтому в тот день я отделался порванной футболкой и легким испугом. (Наша вялая потасовка не шла ни в какое сравнение с развернувшейся однажды

битвой титанов — рослого Бати (Батыра) из параллельного класса и «нашего» детдомовца Сергея. Стены ходили ходуном, а побледневшие школяры с трудом уворачивались от непредсказуемо шарахающегося по раздевалке клубка переплетенных мышц.)

Петрова в тот же учебный год досталась Ёте — невысокому кучерявому старшекласснику, главному авторитету среди школьных блатных. Вызывать его на поединок Рома Ильин не рискнул.

Тонкий вздернутый нос, чуть приподнятая верхняя губа, глаза с поволокой... Должно быть, Ира и в самом деле была привлекательна. Но многое решали не внешние данные, а легкий намек на порочность, возможную доступность для взрослеющих сверстников.

Возможно, блатная среда Небит-Дага подпитывалась не только населявшим его контингентом, но и местоположением города. Его затерянностью, оторванностью, почти лагерной изолированностью от остального мира. На этом с трудом отвоеванном у пустыни островке цивилизации жили тесно и замкнуто, не покидая лишний раз пределы города.

Ездили иногда по делам в поселок Джебел, а отдохнуть — на извилистое, матово блестящее неподвижной поверхностью озеро Молла-Кора. Вода в нем настолько соленая, что утонуть нельзя: окунешься — и выскакиваешь на поверхность, как поплавок. А потом, обсохнув, достаешь бутылки с пресной водой и смываешь с себя кристаллы соли.

Моим лучшим другом за годы небит-дагской учебы стал Вася Бесараб — толстогубый парень, который, казалось, всегда улыбался. Даже после очередного «бодняка», когда он шел смывать кровь с толстых разбитых губ. У Васи был настоящий мини-мопед, на котором он давал мне покататься, и богатый, несмотря на юный возраст, опыт общения с девушками. «Галина охереет, если узнает, что мы с тобой кенты», — повторял он время от времени, имея в виду нашу классную руководительницу.

Бесараб был хорошим другом — иначе не удалось бы уговорить его в разгар лета, с одним велосипедом на двоих, ехать до родника.

Дорога шла в гору. Мы попеременно сидели на раме, всем весом налегали на педали и в конце пути двигались со скоростью никуда не спешащего пешехода. Вася материл меня за то, что «сблатовал» его на дурацкую затею. Я смотрел, как блестит притороченная к раме пустая фляжка, и пытался отплеиваться от песка, хотя плевать уже было нечем. И все же поворачивать, не доехав, было жалко обоим.

Потом мы долго пили, по очереди припадая к металлической зазубренной трубке. Обратно домчались за полчаса, обходя попутные машины, пьянея от ветра в лицо. «Мы в натуре их обгоняем!» — кричал Вася, и это было достойным вознаграждением за мучения долгого дня.

Спустя несколько лет после отъезда из Небит-Дага я узнал, что мопед у Васи отобрали, а его самого избили до полусмерти.

Язык, на котором общались в Небит-Даге, представлял собой смесь фени и диалекта, пришедшего, видимо, с той стороны Каспия.

«В парикмахерскую пойдешь — к теханьке садись. Дяхозик всех стрижет под горшок».

«Ты, Сява, в натуре пихпах! Я ж тебе говорил...»

«Джуня, не толкай! Ну и подлянщик ты, Джуня...»

«Сао тебе, Леха! Тепер у нас все на мази».

Я быстро научился понимать эту взрослую, не по росту, речь одноклассников, но толком освоить ее так и не смог.

Сейчас я понимаю, что небит-дагская школа не была напичкана хулиганами. Учились в ней, конечно, и те, кого называли «беспредельщиками», но в целом это были обычные ребята, которые вели себя согласно своему статусу и месту в жесткой

подростковой иерархии. И если регламентированные правила поведения вступали в противоречие с негласным блатным кодексом, предпочтение отдавалось последнему.

Иногда по вечерам я ходил в госпиталь, где Мухамед — мой курчавый и смуглый ровесник — помогал отцу-киномеханику в клубе управляться с двумя проекторами. Время от времени отец оставлял Мухамеда за главного, и я превращался в его ассистента. Не помню сейчас ни одного показанного нами фильма. Зато помню гордость, с какой доставал из коробки бобину с пленкой и заправлял ее во все нужные пазы и прорези. Главная хитрость состояла в том, чтобы запустить пленку на втором проекторе за несколько секунд до того, как она кончится в первом. Но, как ни крути, эпизоды на этих стыках все равно обрывались на полуслове.

Случалось, что посреди экрана вдруг появлялось желтое пятнышко, которое начинало быстро разрастаться. Тогда Мухамед включал свет, тушил пленку, заправлял ее заново, а нам, как настоящим взрослым киномеханикам, свистели и кричали: «Сапожник!».

В Небит-Даге дети рано выросли и высоко ценили всякие практические умения (что ты можешь, то ты и есть). Например, умение играть в футбол.

Однажды мне объявили бойкот — из-за детдомовца Сергея. К детдомовцам в школе относились с опаской, предпочитая не ссориться, чтобы дело не кончилось криминалом. Но простодушный Сергей, полный кипучей энергии, изрядно всем надоел. Выступить против него открыто одноклассники не решались, и бойкот объявили мне, его другу.

«С этого дня, — провозгласил Андрей Носачев, — с ним не лазьте никто и не базарьте. Только на футболе бойкот не действует. Пасы ему давайте, как всегда».

На ближайшем уроке физкультуры мы, как обычно, высыпали на школьное поле. Оказалось, что одноклассники строго следуют наказу Носачева. Пасовали мне все, и даже тогда, когда ситуация того не требовала. А бойкот отменили через неделю.

В другой раз мы играли с 7-м «В» и крупно проигрывали. Мне, стоящему в воротах, били каждую минуту с любой дистанции.

При счете 0:8 во мне что-то взорвалось. Я подхватил мяч и побежал к чужим воротам, мимо обескураженных соперников, мимо Александрова, который сидел на беговой дорожке и вбивал болт в размягченный солнцем асфальт. Достигнув чужой штрафной, я испугался собственной смелости и потерял мяч.

После игры меня подозвал к себе Ётя: «Тушканчик, научи в футбол играть». Я ожидал подвоха и не знал, что ответить. «Тушканчик, научи», — требовательно канючил Ётя. Наконец он повернулся к длинному рыжему приятелю: «А ништяк Тушканчик в футбол играет?»

Моя жизнь в Небит-Даге постепенно налаживалась.

Была у меня за два туркменских года еще одна минута славы. Мой сосед по лестничной площадке, наркоман Андрей под кайфом, случалось, засыпал беспробудно. Однажды его мать долго не могла попасть в запертую изнутри квартиру и в конце концов начала волноваться. Она попросила меня залезть к ним на второй этаж через балкон и открыть дверь. Фургон с надписью «Хлеб» стоял очень удачно — прямо под балконом. Надо было забраться на крышу фургона, допрыгнуть до балконных перил и подтянуться на них. Я не привык отказывать взрослым — и сделал все, как просили. Только в какой-то момент, глядя на себя как будто со стороны, представил себе, что сказала бы моя мама, если бы застала меня за этой спасательной операцией.

Живя в Небит-Даге, я выросл быстрее своего тела. Что-то, наверное, я увидел и понял там преждевременно. Суровый пустынный город показал мне, что мир состоит не только из родных людей и что у рая советского детства есть изнанка. Может быть, Небит-Даг научил меня лучше отвечать за свои слова и поступки. И все же такие места хороши в первую очередь тем, что ты — рано или поздно — прощаешься с ними.

Александр Эбаноидзе

Дом на горе

Помнится, в ту ночь мне опять не спалось. Я встал и, стараясь не шуметь, вышел на балкон.

Ночь была душная, беззвездная. Изредка по деревьям пробегал ветерок, точно вздох затаенной печали. Одиноким сверчок, как и я, мучимый бессонницей, грустно выводил свою песенку. Слабенькие минорные тремоло, повторяющиеся с безысходной тоской, сжимали сердце, тревожили воображение, как чей-то безответный сигнал в ночи. Горы сдвинулись к реке. На их угрюмой черноте тут и там сиротливо мерцали огоньки человеческого жилья. Далекая могучая гряда тоже придвинулась и казалась ступком непроглядной тьмы. Ее вершины холодно белели во тьме.

Я стоял на краю балкона, касаясь руками теплых перил. Подо мной по склону раскинулся виноградник. С пиками покосившихся подпорок, торчавшими из поредевших лоз, он походил на потрепанное воинство, обступившее старого предводителя. Между домом и виноградником росла смоковница. В прежние годы она вымахивала под крышу, и мы прямо с балкона срывали полопавшиеся от спелости плоды. Теперь смоковница усохла, последние ее силы ушли в непомерно разросшиеся листья. Не стало ни слив во дворе, ни черешен: спиленные по старости, они давно смешали свой дым с небом, а пепел — с землей.

Далеко внизу, в глубине ущелья, из-за горы показался поезд; погода донесла слитный рокот колес. Поезд прошел по мосту, отражаясь огоньками в реке, и увез за собой характерный перестук, долго затихающий в ущелье.

Вот и опять я здесь. Я вернулся.

Когда-то под крышей нашего дома лепились ласточкины гнезда и слышалась их взволнованная радостная скороговорка. Теперь гнезд нет. Они отвалились при обновлении черепичной кровли: дому больше ста лет, и источенные матицы и стропила обессилели от ветра, дождя и обильных январских снегов. Я, как мог, способствовал обновлению, через друзей помог раздобыть подходящий материал: старую черепицу сменил алюминиевый шифер. Дом как бы взбодрился; новое перекрытие встало выше прежнего, и теперь дом выглядит чуточку нелепо, как молодящийся старик в свежей фуражке с высокой тульей.

В дальнем конце двора со стороны кладбища показался маленький изумрудный огонек; словно бы в растерянности поплутав по проселочной, помигивая, прошел сквозь частокол и, облетая на пути деревья, поспешил вниз, к винограднику.

Как печален одинокий светлячок в ночи у родного дома! По преданию в них к нам приходят души усопших...

Эбаноидзе Александр Луарсабович — прозаик, публицист, переводчик. Родился в 1939 г. в Тбилиси. Окончил Литинститут им. А.М. Горького. В «ДН» публиковались романы «Брак по-имеретински» (1976), «Где отчий дом» (1989), «Ныне отпускаеши...» (1996), «Предчувствие октября», (2012).

Я смотрел вслед исчезнувшему во тьме огоньку и думал о тех, кто ушел из жизни, оставив нам дом и очаг, думал о предках. Что за сила все чаще приводит меня сюда и сладко гложет сердце? Что схоронено в этих стенах, вобравших в себя умолкнувшие голоса и дым каминов?.. В сущности, я жил здесь не так уж долго: два года в детстве, в войну, да наездами всю жизнь. Отчего же так сокровенна наша связь? Есть с десяток домов, где я жил дольше и благополучней, чем здесь. Но все они отслаивались, отделялись от души, стоило в последний раз закрыть за собой дверь — даже счастливейшие из них. Здесь же все наоборот. С каждым годом мы срастаемся все нерасторжимее — я и дом на горе с его отзвучавшими голосами и выдохшимися запахами...

* * *

В первый раз меня привезли сюда годовалым младенцем. Разумеется, я ничего не помню о нашей встрече, но рассказы мамы и тетушки Мариам сделали меня ее участником.

Тетушка Мариам рассказывала между делом, иначе у нее не получалось — она все время была занята: месила тесто, рубила хворост, ворошила угли в камине и раздувала огонь, пекла кукурузные лепешки, лушила фасоль, отцеживала сыр, соскребала с лепешек нежные листочки акации, по какой-то причине ее рассказ то и дело прерывался, порой даже сворачивал в сторону, но неизменно возвращался в стремя.

— Тебя привезли к нам маленького, после болезни. Сколько помню, тебе как раз год исполнился... Пора хорошая: конец лета, но сбор винограда еще не скоро... Сузи (так на грузинский лад она произносила имя моей мамы — Сюзанны), Сузи говорила, что какой-то тбилисский доктор чудом спас тебя от скарлатины, буквально с того света вернул. Подписку с родителей твоих взял, дескать, если что, чтоб не привлекали... Но спас, красавчик, дай бог ему спасения от беды и напасти... Распеленали тебя, горемычного, вот здесь вот, на этом столе... Господи! То ли младенец, то ли не знаю что, помесь лягушонка с червячишкой. Ножками сучишь, хнычешь-пузыришься, веки красные... А мой Леван, когда из Тбилиси приезжал, так тебя нахваливал, уж так нахваливал!.. Вот вы все старшим любуетесь (мой брат Игорь был старше на два года), а видели бы вы младшего... Я ему говорю: Лео, сынок, где твои глаза! Разве ж этого лягушонка можно с Игорем равнять? Это же как небо и земля, сынок!.. А он мне на это: подожди, мать, вот выздоровеет, поправится, тогда увидишь... И ведь прав оказался мой Леван! Прав, родимый, почему я не погибла за него... Вон ты какой, глаз радуется!.. — и она смеялась легким молодым смехом (такой смех был у нее до старости — легкий и молодой) и старалась незаметно утереть слезу, как будто от дыма из камина или от лука.

Не то радовало тетушку Мариам, что из помеси лягушонка и червячишки вырос плечистый румяный отрок, а то, что я был живым напоминанием о ее первенце Леване, неизбывном ее горе... Я рос, выросел, мужал, а тетушка Мариам все препиралась надо мной с любимым сынком и радовалась его прозорливости...

Мамина история была проще и драматичней.

— Собрались мы тебя искупать перед сном, подогрели воду в кумгане у огня, но, видно, перестарались. Ты с ревом мне на руки, верещишь, зашелся весь. А разбавить воду нечем. Сам знаешь: дом на отшибе, до ближайшего родника с полкилометра по круче. «Придется подождать, пока вода остынет» — говорит рассудительная Маргарита. Елена ахает, причитает: «Уй, уй, уй, ошпарили, тетки бестолковые!..» А я сунула тебя ей в руки, подхватила ведро и в дверь. «Куда, Сузи?! — кричат вслед. — Стой!.. Маргарита пытается остановить, а я уже выскочила и в гору, к кладбищу. Там возле церкви кувшин огромный зарыт с дождевой водой. Ног не чую, глаза зажмурила, но бегу. Вроде недалеко, а страшно — жуть!.. Вот и кладбище. Вокруг церкви немножко посветлей, кувшин вижу пузатый. Подбегаю и сходу — бац! Бухнула гулко, эхо загудело: буу-буу-буу... И тут из церкви в ответ — как забубнит кто-то, как заурчит. И стук по каменному полу: тук-тук, тук-тук... Идет. Ковыляет! У меня волосы дыбом. — Это было самое

страшное место в мамином рассказе. Она округляла глаза и затаивала дыхание; мы с братом тоже не дышали, а мама, упившись эффектом, немного меняла тональность. — В те годы в нашей церкви жил одноногий бродяга Максим. Как забрел, откуда — не знали, да и не допытывались. А мне только этого пугала не доставало, ночью, на кладбище! Воду из кувшина набрала, половину расплескала и бегом домой. Возле нашего двора Елена навстречу. Совесть заела. «Какая же ты отчаянная!» — говорит и руки моей касается ласково и виновато. Но подвига моего тетушки твои не оценили, скорее, как укор приняли...

Отношение к этим историям у меня странное, непроясненное. Вроде бы я в них главное действующее лицо, но при этом меня как бы и нету, слишком еще мал. Живая картинка сквозь дымку времени, как сквозь кисею на театре, — розовый младенец в окружении любящих заботливых женщин...

Есть люди, помнящие себя чуть не с пеленок. Я не из их числа. Истории с младенцем не воспоминания, а пересказ. Моя память включается позже. Самое раннее, что удалось разглядеть в ее глубинах, — несколько картинок времен войны.

Тбилиси, дом.

Большая комната, освещенная керосиновой лампой. Свет красноватый и тусклый, чуть подрагивающий. Углы комнаты тонут во мраке, и это производит гнетущее впечатление, как будто по углам таится опасность. У меня болит ухо, остро сверлит в глубине, гораздо глубже, чем я могу представить себе мое ушное отверстие. Я хнычу, держась за ухо, бессознательно пытаюсь его согреть. Маме кажется, что я хнычу не от боли, а от голода. Меня обижает такое примитивное толкование моих страданий (обида запоминается так же остро, как боль). Мама шарит в пустом буфете, наконец находит кусочек кукурузной лепешки, разогревает на открытом огне керосинки, переворачивая со стороны на сторону. Кое-как обгладываю зачерствевшие края лепешки, они больно ранят рот, только последние крохи, чуть размякшие в кулачке, разжевываю без труда. К моему удивлению боль в ухе проходит. И мрак по углам комнаты немного отступает...

Тбилиси, двор.

Двор на три четверти вымощен речным булыжником. Одна четверть оставлена под грунт, едва зарастающий травкой. На грунтовой части растут два больших дерева — бесплодный тополь и шелковица, плодоносящая продолговатыми бледно-желтыми ягодами.

С трех сторон двор замкнут резными балконами, придающими ему сходство с обвалившимся театром; с четвертой стороны глухая стена с тремя зарешеченными оконцами. У стены большой мусорный ящик с откинутой крышкой, там шмыгают крысы.

Время от времени во двор через темную подворотню забредают какие-то ветхие люди в обносках, гнусава на разные голоса, предлагают скупку старья, лужение котелков и кастрюль, ремонт окон, землю для цветов и песок для чистки самоваров. Иногда их сменяют бродячие певцы: круглоголовый крепыш, поющий под Бейбутова, и немолодая армянка с трагической внешностью и душераздирающим репертуаром, похожим на вопли плакальщицы...

А этот человек появился совершенно незаметно, как будто выступил из кирпичной стены или материализовался из воздуха, и стоял у подворотни, под водосточной трубой, в лужице от последнего дождя. Он ничего не предлагал и ничего не просил, стоял в углу как наказанный, утомленный наказанием, но не смеющий напомнить о себе. В куцем ватнике и залатанных штанах, он что-то держал в руке и порой неуверенно протягивал вперед, пытаясь привлечь внимание: так робкий ученик порывается ответить на вопрос учителя, но ни класс, ни учитель его не замечают.

Не помню, откуда стало известно, что это пленный немец и что в руке у него

низка с самодельными прищепками для белья. Вряд ли при своей бессловесной робости бедняга продал хоть одну прищепку.

Он так и остался в памяти — в темноте подворотни, безмолвное воплощение вины и раскаяния.

Кировобад (Гянджа). Городское кладбище неподалеку от военного госпиталя.

Глинобитная окраина, азиатский зной. Вдали, насколько хватает глаз, полыхает маковое поле. А на переднем плане, отделившись от алого фона, нестройно выступили вперед непонятные сооружения. Сбитые из брусков и фанеры, увенчанные пятиконечными звездами, они смахивают на макеты Спасской башни, сколоченные на уроках труда. К некоторым вместо звезд прикреплены лилово-серые пропеллеры — две лопасти, отполированные до блеска. Этоobelisks. Они стоят в изголовьях свежих могил. Холмики могил осели, потрескались, иobelisks кренятся в разные стороны. Солнце в зените венчает видение, похожее на детский рисунок.

Деревня. Пригорок на обочине нашего сада.

Возле цветущего куста стоит мальчик.

Я знаю, что мальчик на пригорке — я, но меня, сидящего сегодня над стопкой бумаги, отделяет от него больше семидесяти лет, и хотя память легко управляется со временем, на такой дистанции лучше проявить осторожность.

...Давным-давно, так давно, что это даже трудно представить, я бежал мимо цветущего куста, и меня остановил запах, ни с чем не сравнимый по нежности и красоте. Стояла весна, май был в цвету и вся Имеретия благоухала: лютики, ландыши, сирень, акации, жасмин, шиповник, гвоздики, фиалки, мимозы, магнолии, розы, земляника на солнышке и дикая мята на взлобках... Но коснувшийся меня запах был красивей всех. При этом он был деликатен и скромнен. Такая особенность: он сознавал свое превосходство, но как бы смущался им. Не светская львица и не царица бала, а маленький принц.

Когда, уже будучи студентом, я пристал к своим деревенским родственникам с вопросом, что за куст цвел у нас на обочине сада, они отмахнулись: «Да кто ж его знает! Не помню...»

К этому времени куст оказался срублен и без следа выкорчеван. Как будто он и появился там только для того, чтобы сказать мне что-то невыразимое словами и исчезнуть...

Вот картинки, смутно различимые в колодце прошлого. Дальше поводырями моей памяти становятся письма.

Дом на горе не сохранил голосов и запахов ушедшей жизни, но сберег двадцать три письма — предвоенную переписку семьи с моим отцом и дядей Леваном, мобилизованными в начале войны. Письма датированы летом и осенью 41-го года, когда их адресаты проходили военную подготовку перед отправкой на фронт: отец в Кодори, близ Сухуми, Леван в пригороде Баку — Аляты.

Скоропись писем, особенно на грузинском, понуждает к медленному чтению, в нее всматриваешься, местами разгадываешь, несколько слов я так и не смог разобрать. Зато сполна вкусил ясную простоту этих эпистол. Удивительно светлые, они полны взаимной заботы, любви и нежности. Ни страха, ни надрыва, ни опасений. Лишь где-то вдали, над оснеженной грядой, стоит темное облако и невидимым коршуном витает тревога, но Кавказский хребет надежно защищает нас.

Три четверти писем адресованы Левану. Я так и не понял, какими путями они возвратились домой, но благодаря неразгаданному случаю, прошлое вдруг вернулось и передо мной ожили первые месяцы войны.

Они очень разные — письма отца и Левана, что вполне понятно: Лео призвали со студенческой скамьи; отец уходил на фронт, оставляя молодую жену с двумя

малолетними сыновьями. В письмах Лео слышится беспечность и чуть наигранное мальчишеское легкомыслие. Его главная забота — здоровье многочисленной родни, оставленной дома, а для себя он просит только «папиросы и бумагу для писем».

Отцу же, судя по письмам, казалось, что главное — пережить первую зиму. Удрученный своей беспомощностью, он пытался внушить себе, что война скоро кончится, и на первых порах просил сестер поддержать маму, чтобы ей не пришлось отдавать нас в детский сад, а самой идти работать. Непонятно, что подпитывало его оптимизм: наивность или бессознательный самообман как способ защиты от надвигающейся катастрофы.

А пока почти идиллия, бархатный сезон на черноморском побережье!

«Ко мне приезжала Сузи 26-го сентября и осталась до 29-го. Все сложилось на редкость удачно. В поезде, когда она расспрашивала проводника про Кодори, то познакомилась с местной жительницей, ездившей к мужу в Сенаки, и эта женщина устроила нас у себя дома, освободила для нас свою спальню. В доме жили только она с золовкой в трех комнатах. Обе отнеслись к нам очень хорошо. Сузи увезла отсюда 8 кг картошки, 3 кг лука и 3 кг отличной поросятины по 10 руб за килограмм. Вот только погода к концу испортилась, пошел дождь, и как она доехала, не знаю».

Мама не раз рассказывала нам об этой поездке и тоже не могла надивиться гостеприимству двух немолодых грузинок. Но ее рассказ дополняла подробность, вносящая в идиллию смесь юмора и тревоги, своего рода южная специя. Поначалу маму так напугала внешность попутчицы из Сенаки, что ей пришлось собраться с духом, прежде чем принять ее приглашение: грубо сбитая, усатая, басовито-сиплая, с красным от помады «Беломором» в зубах и соленым словом на языке, она производила впечатление рецидивистки или бандерши. Мама с замиранием сердца заставила себя выйти из вагона и как овечка шла за ней в сторону темнеющих на пригорке домов поселка... На поверку же рецидивистка оказалась добрейшим и деликатнейшим созданием, три дня окружавшим заботой красивую молодую чету. (Мне кажется, что их красота тронула стареющих женщин.) А Господь, мудрый шутник, почему-то в таком обличье послал моим родителям ангела-хранителя, предоставившего им кров для последнего свидания.

Дядя Лео не перегружал писем житейскими подробностями.

«Здесь мало тени — описывает он место своей службы. — Деревьев почти нету, и дуют сильные ветры, буквально песчаные бури, но зато совсем близко море и это все искупает».

«Виноград здесь хорош, похож на наш, ем в охотку...»

Вся переписка, все письма, кроме одного, движутся по отлаженному маршруту: из дома на горе — в армию, из армии — в дом на горе, и только одно письмо отклонилось от нахоженной тропы, оно отправлено из армии в армию, из Кодори в Аляты. 10 октября отец пишет своему двоюродному брату:

«Лео, братишка, в эту осень мы нашего винограда не попробовали. Ты хоть там, в Шуловери, отведай. Я тут ем местную "изабеллу", дешевую, по полтора рубля за килограмм, но вкус еще дешевле — вода водой. Давай дадим поручение Вахтангу (брат Левана, не призванный по болезни), чтобы он за нас поел дзирульских каштанов и записал маджари» (молодое, еще сладкое вино на первой стадии брожения).

В этом месте отцовского письма я вклинюсь в переписку, поскольку повод у меня серьезный. Не странно ли — когда отец оценивает «изабеллу», отдавая предпочтение нашенским сортам винограда, когда он вспоминает дзирульские каштаны и щекочущее небо молодое вино, в это самое время накал войны за хребтом Кавказа достигает кульминации. Наши бьются на пределе сил. Сданы Минск, Киев, Харьков, Смоленск. Сдана Одесса, пал Севастополь, враг под Москвой. Ни шагу назад! Сотни тысяч солдат убиты, сотни тысяч оказались в плену. Письмо отца написано 10 октября, как стало известно из военных мемуаров, 10 октября Сталин своим приказом бросает Жукова на

Западный фронт. Стало быть, когда Лео читает про дзирульские каштаны, маджари и «изабеллу», в Москве нарастает паника и вот-вот разразится 16 октября!

Что-то тут не так. Не складывается. Допускаю, что политинформаторам запретили раскрывать истинное положение дел на фронте, дабы не травмировать новобранцев. Но еще вероятней, что отец усовершенствовал свой метод психологической защиты: успешный молодой инженер, наладивший новейшие ТЭЦ в Кировобаде и Батуми, баловень семьи, с детства заласканный четырьмя сестрами, муж польской красавицы и отец двух славных ребятишек, он не готов был расстаться со всем этим прежде смерти. Недоброжелатель скажет, что он как страус прятал голову в песок. Я скажу, что он как стоик с улыбкой шел навстречу гибели, до которой оставалось 76 дней.

Любимцу семьи, юному Лео, писали все: двоюродные сестры, свояк, зять, младшая сестра, двоюродные племянники, младший брат под диктовку старшего, какие-то милые кокетливые девицы, то ли сокурсницы, то ли соседки: *«Здравствуй, Леван, представляю, как ты удивишься, когда узнаешь, кто тебе пишет, если, конечно, вспомнишь меня... Как переменилось время, если девушка первая пишет юноше. Но теперь вы — солдаты, главные люди в стране, наши защитники, и мне совсем не стыдно, что я пишу тебе первая»*.

Однако лучшее в переписке — письма тетушки Мариам и дяди Габриела. Они как самородки в грудке породы. Их следовало бы привести целиком, от слова до слова, на зависть нынешним.

Дядя Габриел сообщает сыну о поездке мамы к отцу в Кодори и сдержанно присовокупляет: *«Можно было бы и до тебя в твою Аляты добраться, не так уж это далеко. Но совсем нету времени. Из-за засухи виноград созрел рано. Ты пишешь, что скучаешь без винограда. Что поделаешь, ты теперь солдат, терпи. Не пришлось бы чего и похуже терпеть»*.

В одном из писем тетушки Мариам отразилось горестное событие, пережитое семьей в сентябре сорок первого — невестка с Леваном, командированным по служебной надобности из Баку в Кутаиси.

Заранее уведомленная о командировке, тетушка Мариам нетерпеливо готовилась к встрече: запаслась назуки, сварила гоziнаки, свернула в трубочки раскатанную в лист пастилу, собрала в мешочек фундук и сушеный инжир; перед самым выходом из дома напекла хачапури и тщательно укутала стопку, чтобы хоть в середине сберечь остатки тепла, и, напутствуемая всей семьей, пустилась в путь (от нас до Кутаиси меньше 70 километров), но по неведомой причине они разминулись. Это было настоящее горе, горькое и безутешное. Заливаясь слезами, кляня себя за никчемность и пустоголовость, тетушка Мариам воротилась домой. Впервые она забросила хозяйство, целых два дня ничего не делала, что называется, не пошевелила рукой, только плакала, убитая страшным предчувствием.

Среди писем уцелела коротенькая записка двоюродного брата Буцу (младшего сына рассудительной тети Маргариты), в ту пору мальчишки пятнадцати лет: *«Лео, пиши матери почаще — совсем как равный наставляет он дядьку, — а то она после возвращения из Кутаиси всю дорогу скулит и хнычет, прямо слезами изошла, смотрит жалко»*.

Судя по дате следующего письма, тетушке Мариам понадобилось больше месяца, чтобы прийти в себя и написать сыну ясное ласковое письмо, написать без сетования на невестку. Ни словом не упомянув о ней, она просто поведала, чем теперь живет и утешается.

«В эту осень Сузи с детишками у нас. Мальчишки так хороши, что глаз не нарадуется. Маршируют по балкону и повторяют, что скоро пойдут на фронт и "унистозат немцев", и тогда папа и дядя Лео вернутся домой.

Ты, сынок, спрашиваешь про урожай и виноградники. Пока ртвели не начинали, хотя виноград созрел и урожай хороший. Но я ему не рада, когда не вижу вас всех вместе в

винограднике. Мне и лето нынешнее отвратительно, и осень не в радость, чтоб не дожид до радости тот, кто нам это устроил!»

Одна из удивительных особенностей этих писем — неразделимое единство виноградников и двух маленьких мальчиков. Советы, тревоги, пожелания выражены привычными и, как ни крути, немножко затертыми формулами: «как твоё здоровье?», «береги себя», «о нас не беспокойся», «не простудись», «держись молодцом», «если нужны деньги, дай знать, не стесняйся», и только когда речь заходит о винограднике и о мальчиках, слова словно вспыхивают, наливаются теплом и светом.

«А сейчас, наверное, в Дзируле р т в е л и в разгаре!.. Три дня назад мы миновали перевал, прошли Казбег. Теперь укрепляемся на северных склонах. Здесь уже выпал и сошел первый снег. Я жив, здоров и бодр, как и подобает защитнику Родины, так что обо мне не беспокойтесь. Что у вас нового? Как С а ш е н к а ?»

Это последнее письмо дяди Лео. Оно написано на плотной глянцево-открытке желтоватого цвета, написано слишком убористо, строка на строку. Нижний край открытки истрепался, там скорее угадываются, чем читаются, имена нашей родни: Маргарита, Тина, Нуцка, Елена, Шалва, Зураб, Буцу, Марго, Резико, неведомая мне Цуца... Разборчиво только «много-много целую». Но как в такой тесноте нашлось место спросить — «Как Сашенка?». Как вообще среди фронтовых забот и опасностей тебе, дядя Лео, вспомнился большеголовый шепелявый малыш, лопочущий первые слова?

Это я, дядя Лео, тот самый лягушонок, за которого ты вступил в спор со своей мамой. Теперь я стар, дядя Лео, и я совсем не помню тебя — туман, туман, ни лица, ни голоса. Но я думаю о тебе, и к глазам подступают слезы. Почему Сашенка, дядя Лео? В грузинском есть свои ласкательные суффиксы, они не хуже русских могут выразить тепло и нежность к малышу: Сашико, Сашура, Сандрик!.. Почему Сашенка, дядя Лео, и почему это так трогает меня?.. Прошли годы, прошло очень много лет. Вокруг никого из тех, кто писал тебе письма в Аляты, кого ты видел в доме на горе. Мне страшно помыслить, но, может быть, и самого дома скоро не станет. Я думаю об этом, и старческие слезы текут по моим щекам.

Я последний, кто помнит тех, что жили в доме на горе. Как мне повезло, что я рос среди них! Может быть, и за перо я взялся только для того, чтобы дом на горе не исчез бесследно...

В последнем письме дяди Лео меня озадачила дата: в правом верхнем углу открытки отчетливо читается: «25/II-1942». Всю жизнь был уверен, что отец и Лео погибли вместе, в одном бою — трагическом Керченском десанте сорок первого года, и разрушение легенды, маленького фамильного склепа, слепленного мной, стало для меня ударом: как будто близость братьев в последние минуты жизни могла принести им какое-то облегчение. Но они убиты поврозь.

Первый Керченский десант был одной из самых бездарных и трагических операций начала войны. Я достаточно хорошо знаю восточный Крым, чтобы позаимствовав дополнительные подробности из мемуаров и энциклопедий, описать гибель отца в холодных водах Керченского пролива — их столкнули с десантных барж на рассвете в конце декабря. Но я не стану ничего заимствовать. Картина расстрела наших солдат, бредущих по горло в воде с поднятыми над головой винтовками и захлебывающихся ледяной волной, непереносима.

Как ни больно сознавать, но Молох войны еще только раздувал свой горн, а отец и дядя Лео уже погибли: отец тридцати шести лет от роду, Лео — двадцати двух.

Облако над грядой Кавказа обернулось страшной тучей и разразилось смертоносными молниями.

Коршун тревоги, круживший вдали, камнем упал на наш двор и закогтил двух цыплят, двух осиротевших малышек.

Но рядом была родня. Нам не дали погибнуть.

Александр Алексеенко

Казахстан: между Европой и кочевьем

В поисках золотой середины

В советский период о Казахстане сложились представления как о регионе с индустриально-аграрной экономикой и европеизированным населением. Республика воспринималась почти как европейское пространство. Во всяком случае, ни на официальном, ни на бытовом уровне Казахстан не ассоциировался со Средней Азией. Но во многом этот имидж отражал не «титულную», а именно «советскую» суть, возврат к которой после обретения независимости не предполагался. Поиск суверенной цивилизационной идентичности обозначил присутствие по крайней мере двух вариантов дальнейшего развития — «европейского» (индустриальное ускорение, европейские демократические идеалы) и «традиционного» (отрицание европоцентризма, возврат к обычаям и традициям казахского народа). При этом большинство титульного населения осознавало суверенитет именно с этнополитической точки зрения. «Европейский» же путь воспринимался как нечто чуждое, от которого следовало незамедлительно избавляться.

Подобная реакция во многом объясняется болезненным «наследием» союзного прошлого — этническими перекосами в социальной структуре Казахстана. К началу 90-х годов XX века казахи в массе своей проживали в сельской местности, оставаясь на периферии преобладающих социально-политических процессов. Важнейшей целью суверенного государства стало создание в короткие сроки урбанизированной казахской нации. Но решение этой задачи неизбежно привело к переносу в города традиционных воззрений вчерашних сельских жителей. В результате в современном городском пространстве присутствуют как «традиционные», так и «роевропейские» идеи.

В начале XXI века президент Нурсултан Назарбаев предпринял попытку найти золотую середину сосуществования цивилизационных устремлений. Он поставил задачу «идти своим путем», вести модернизацию казахстанского общества при опоре на национальную специфику и исторический опыт: «На повестке дня — модернизация страны, "встраивание" на приемлемых для нас условиях в мировую экономику». При выборе пути дальнейшей модернизации общества необходимо учитывать исторические корни, традиции народа, основные идеологические концепции должны быть адаптированы к реалиям Казахстана... «Опора на национальную специфику и истори-

Алексеенко Александр Николаевич — доктор исторических наук, профессор кафедры философии и проблем человеческого развития Восточно-Казахстанского технического университета им. Д.Серикбаева (Усть-Каменогорск, Республика Казахстан). В «Дружбе народов» публикуется впервые.

Статья выполнена в рамках проекта, осуществленного Лабораторией исторической и политической демографии Иркутского государственного университета.

ческий опыт прибавляет... обществам устойчивости и придает внутреннюю логику их развитию. Точно так же и Казахстан стремится идти своим путем, используя свои преимущества и исправляя доставшиеся от прошлого "перекося"» (Нурсултан Назарбаев. Послание президента народу Казахстана // «Казахстанская правда». 27 ноября 2002 г.).

Предполагаемое постиндустриальное будущее Казахстана зиждется на «европейской» социально-экономической основе, заложенной еще в советский период — ускоренной модернизации, индустриализации. Национальную же специфику должно придать прошлое, незапятнанное «колониально-тоталитарным режимом». Проблема в том, что суть «специфики» определить сложно, так как за время нахождения в составе России/СССР ее социальная, экономическая, культурологическая основа была основательно размыва. В результате точка опоры определяется этнополитическими эмоциями, не выходящими чаще всего за рамки традиционной культуры автохтонов.

Векторы развития Казахстана отражают мировоззрение социальных слоев, представления которых о будущем республики совпадают далеко не всегда. По мнению заведующего отделом политологии и религиоведения Министерства образования и науки РК М.Шайкемелева, поляризация казахстанского общества зашла довольно далеко: «Водораздел проходит не столько по национальному признаку, сколько по социальному. Одна — продвинутая часть общества, которая живет в XXI веке и ориентируется на глобализм и космополитизм. И другая, которая все еще находится под влиянием патриархальных стереотипов и форм поведения, не работающих в глобализованном мире. Пропасть между двумя частями общества медленно, но верно увеличивается». Дискуссии о прошлом, настоящем и будущем страны приобретают все более острый характер.

Варианты осознания населением результатов изменений социально-экономических, этнокультурных и других составляющих динамично развивающегося городского пространства существенно отличаются. В этой статье представлен лишь общий план, контуры проблемы, рассматриваемой, в основе своей, через призму мнений казахских авторов, опубликованных в русскоязычных средствах массовой информации. На мой взгляд, именно русскоязычные городские казахи способны наиболее объективно оценить изменения, происходящие в городском пространстве. Казахоязычные СМИ, равно как и русские авторы, вольно или невольно смотрят на ситуацию с этнической точки зрения и куда более ангажированы.

Смена исторического вектора

Гротескное отражение идея возрождения «национальной специфики» получила в «национально-популистском» направлении исторической науки современного Казахстана. Представляют это направление многочисленные любители, в массе своей исторического образования не имеющие. Тем не менее, созданные ими сюжеты легли в основу учебных пособий, оказавших немалое влияние на формирование исторических знаний казахстанской молодежи.

Выбор истории в качестве проводника идей «возврата к истокам» объясняется тем, что прошлое явилось фактически единственным источником формирования национально-патриотических конструкций. Исторические вариации, опирающиеся в основном на концепцию этногенеза Л.Н.Гумилева, придают этим конструкциям научный вид. История Казахстана преподносится как история казахов. Она обусловлена природной средой, в которой казахи проживали. Экономический базис казахского общества, сформировавшийся в этой среде, — кочевое скотоводство. Номадизм, в свою очередь, определил материальную, духовную культуру, обычаи и нравы казахов.

Таким образом, согласно этим воззрениям, казах по своей сути — кочевник, номад. С помощью констатации «если казахи — это кочевники, номады, то кочевники, номады — это казахи» возможны экскурсы в далекое прошлое и «оказывание» кочевых культур, встретившихся на пути «в древность» (особенно, если следы их

пребывания были обнаружены на территории Казахстана). Одновременно происходит и расширение границ обитания казахских племен.

В значительной мере на нomaдизме держится и конструкция «исторической политики», неразрывно связанная с мифотворчеством. Во всех бедах казахов (как прошлых, так и настоящих) обвиняется российский колониальный или советский тоталитарный режим.

С течением времени, однако, полюбившиеся исторические сюжеты теряют актуальность. Вариации «великого прошлого» почти исчерпались и вызывают иронические комментарии¹. Новоявленные историки начинают ходить по кругу, повторяясь или приводя новые факты «преступлений» России/СССР. При этом документальные подтверждения исторических событий часто отсутствуют. Причина объясняется просто: «Считаю не только нецелесообразным, но и оскорбительным для казахского народа приводить документы по технологии осуществления этой колонизаторской политики» (Данияров К. История Казахского государства. XV—XX вв.: В 2-х ч. Ч. I. Казахское ханство. XV—XVIII вв. — Алматы: Изд. дом «Жибекжолы», 2000. С. 7).

Национально-популистское направление отечественной истории явно расходится с декларируемым государственным видением будущего, стержнем которого является ускоренная социально-экономическая модернизация. Что стоит за призывами «вернуться к истокам», «отказаться от колониального, тоталитарного прошлого», никто не знает. Где истоки? Куда возвращаться в случае забвения двухсотлетнего исторического периода? Императив «героизация прошлого» почти не оставляет шансов планируемой индустриально-инновационной перспективе. Мало кого из современных казахов прельщает вариант, предложенный в учебном пособии А. Сейдимбека: «Обычаи кочевой жизни — это не достоинство казахского народа и не его порок. Кочевой образ жизни казахского народа — установившаяся необходимость существования в данной экосистеме. Для того чтобы улучшить жизнь людей, поднять уровень их благосостояния, нужно в первую очередь подчинить животноводство ритму кочевого образа жизни, что поможет сохранить биологическое здоровье народа».

Обвинение во всех бедах казахов «внешних врагов» (чаще всего — это Россия/СССР) воспринимается все менее доверчиво по мере отдаления от даты приобретения суверенитета. Более того, сюжет явно выпадает из логики политических и экономических российско-казахстанских отношений последних лет.

Состояние исторической науки Казахстана вызывает тревогу уже не только у профессиональных отечественных историков, но и у властных структур. Президент Казахстана Н. Назарбаев охарактеризовал ситуацию следующим образом: «Такая важная составляющая учебно-воспитательного процесса, как исторические знания, абсолютно не настроена на решение задач становления личности, гражданина и патриота. Реальность такова, что учащиеся считают предмет истории Казахстана "скучным", "неинтересным", "запутанным"». Президент поручил Министерству образования и науки РК «провести анализ учебных планов, учебников и учебных пособий по истории Казахстана, осуществить меры по изменению содержания и формата преподавания истории Казахстана в учебных заведениях». Историческая наука должна формировать «общенациональное историческое сознание. Наше восприятие истории должно быть цельным, позитивным и объединять общество, а не разделять».

Государственные стратегические замыслы подчеркивает роль городов, где в обозримом будущем должны преобладать казахи. Представители национал-популистского направления оказались не готовы к смене исторического вектора. Упорным трудом ими был создан образ казаха — нomaда, казаха — кочевника, мужественного воина. Но никак не городского жителя — мещанина, рабочего фабрики и т.п.

¹ См., например: «Благодаря стараниям отечественных ключевских, любой казахстанский школьник может смело утверждать, что Атилла был казахом, а Рим основали выходцы из Младшего жуза» (Кубайжанов А. На джунгар можно свалить что угодно // «Свобода слова». 12 апреля. 2012 г.). А заголовок статьи известного казахоязычного деятеля Казахстана Г. Бергера говорит сам за себя — «Король Артур, Наполеон и другие казахи» («Время». 12 апреля 2012 г.).

«Городской типаж» категорически не вписывается в концепцию «героического прошлого». Более того, «историческая политика» заставляет воспринимать города, особенно северо-востока, как символ воинствующего российского колониализма: «Колонизация Северного Казахстана вступила в завершающую фазу после строительства Акмолинска (в настоящее время город Астана, куда перенесена столица государства. — А.А.), Атбасара, Петропавловска, Кокчетав, Щучинска, Костаная, Тургая, Каркаралинска». Или: «Россия начала продвигаться вглубь Казахского ханства, строя военные укрепления, которые в дальнейшем превратились в города Уральск, Костанай, Актюбинск, Акмолинск, Кокчетав, Петропавловск, Павлодар, Семипалатинск, Усть-Каменогорск... На базе Малой и Большой станиц был построен город Верный (ныне Алматы), с которого началось освоение территорий южнее и западнее его» (Данияров К. История Казахского государства. XV—XX вв.: В 2-х ч. 4. II. Казахстан — колония России. XVIII—XX вв. — Алматы: Изд. дом «Жибекжолы», 2000. С. 5, 8).

Представители национал-популизма в истории максимально затруднили становление актуального направления «казахи в городе». Неясно, на какой историко-патриотической основе оно будет строиться, так как эта основа была фактически выжжена «любителями номадизма». Номадический дискурс, героизация антиколониальной борьбы оставили немного шансов исторического обоснования автохтонизации городского пространства. Создание «великого прошлого» шло по сценарию, отрицающему городской образ жизни. Отдельные же попытки приобщения казахов к оседло-земледельческой, городской культуре на сложившемся номадическом фоне выглядят искусственно и подвергаются язвительной критике.

Таким образом, результатом созданной национал-популистами за годы суверенитета отечественной истории является идеализация патриархального казахского общества «доколониальных» времен. Обоснование постиндустриального будущего на таком историческом фундаменте максимально затруднено.

Дерусификация топонимики

На первый взгляд, переименование городов выглядят наиболее доступным способом решения задачи «этнической перезагрузки» городского пространства. Проблема в том, однако, что города северо-востока все еще именуются русскими названиями, и свою гражданскую позицию «нетитульные» активно проявляют именно в защите своего запечатленного в этих названиях досуверенного прошлого. Ономастика является некоей границей, отражающей как ментальные, так и этнически выраженные исторические предпочтения: «По ономастике страшно страна отличается. На юге и западе, где области казахские по демографическому составу, вплоть до Актобе улицы носят названия ханов, батыров, биев. Но как только мы переехали из Актюбинской в Костанайскую область — первый город на пути Рудный. И началось — Ленина, Горького, 40 лет Октября, Пролетарская, Большевик, Красногвардейская, Краснознаменная, Краснопресненская. Весь север такой — Костанай, Петропавловск, Усть-Каменогорск. Ничего не поменялось в этом смысле за 20 лет!» (Тайжан М. Аул на грани коллапса // «Взгляд». 5 сентября 2012 г.).

Ономастические ускорения вполне могут дестабилизировать межэтническую ситуацию, так как выводят проблему на бытовой уровень, вызывая к действию пассивные ранее слои населения. Власть не заинтересована в подобном развитии событий, так как межэтническая стабильность — один из важнейших брендов суверенной политической системы. Пока дозированные переименования позволяют в целом удерживать от решительных действий как русскоязычное население, с одной стороны, так и автохтонное — с другой. В то же время растущая урбанизация в сочетании с эмиграцией быстро меняют этнический состав городов. Ономастические претензии «новых горожан» становятся одним из основных компонентов самоутверждения на новом месте жительства.

Становление этнической однородности вызывает проблему иного свойства. По признанию министра культуры и информации Казахстана Д.Мынбая: «В последние годы на местах различным социальным объектам стали присваивать имена неизвестных личностей». Главный редактор республиканской газеты «Туркестан» Ш.Паттеев констатирует: «Наверное, есть резон в том, что улицы города освободились от имен "пламенных революционеров", от памятников им. Но всегда ли на смену им приходят достойнейшие из достойных? Увы. Сплошь и рядом, особенно в маленьких городах и аулах, предпочитают отдавать почести не действительно заслуженным людям, а своим родственникам».

Переименования будут происходить в основном через призму этнической логики. Тем не менее, они требуют хоть каких-либо обоснований. Северо-восток Казахстана — один из наиболее сложных случаев для поиска этих обоснований. В первую очередь потому, что практически полностью отсутствует возможность использования исторических вариантов.

«Исторический синдром» преодолевается неким «особым» отношением к истории в суверенном Казахстане. Казахстанский историк Р.Темиргалиев заметил: «Ментальность казахов диктует свои условия. Будь ты белым или красным, коммунистом или либералом, в первую очередь ты — казах. Для нас равнозначно великими могут оказаться абсолютно противоположные личности. Шероховатости взаимоотношений забываются, разногласия стираются, а архивы не исследуются. Достаточно принадлежности к казахам, и ты получаешь свое место в истории». «Новое историческое мышление» постепенно формирует и внешний облик городского пространства. Ш.Паттеев отмечает: «У нас складывается очень странная ситуация: если памятник не этническому казаху, то его снос будет поддержан населением. А если памятник революционеру, но казаху — его оставляют».

Нельзя забывать и о таком ресурсе, как «историческая справедливость», актуальность которого усиливается при недостаточности логической аргументации. В мае 2012 года казахстанские деятели культуры обратились с очередным посланием к президенту, парламенту и в Конституционный суд: «Почему применяются названия населенных пунктов, которые являются мрачным наследием эпохи советского тоталитаризма и напоминанием периода колонизации нашего государства: Петропавловск, Павлодар, Усть-Каменогорск, Фурманово, Голощекино, Ленина и многие другие? Когда будет восстановлена историческая справедливость?» Более убедительно призывы к «исторической справедливости» звучат в случае подключения эмоционального фона: «Мы хотим видеть Усть-Каменогорск казахстанским городом. Мы хотим видеть сегодня в обществе атрибуты казахстанской истории и культуры. Не лишайте нас такой возможности. Избавьте нас от позора, когда переименования улиц вызывают такой ажиотаж».

Публикации подобного рода находят все большее сочувствие горожан. Не случайно инициативу в вопросах переименования власть передает населению. Министр культуры и информации Д.Мынбай, представляя законопроект «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты РК по вопросам ономастики», заявил: «Население сможет участвовать в процессе переименования городов, населенных пунктов, улиц, площадей, скверов, социальных объектов».

Таким образом, ономастические изменения официально являются теперь следствием этнодемографических сдвигов. По мнению русскоязычных СМИ, судьба большинства русских названий населенных пунктов, улиц определена: «Специалисты признают — в Казахстане идет активный процесс дерусификации в топонимике. Ведь всерьез говорят о переименовании городов только с русскими названиями. То, что чиновники будут продолжать политику переименований, очевидно» (Кирилюк И. Ономастический зуд. Усть-Каменогорск предлагают переименовать в Кунаев // «Мой город». 2 мая 2013 г.).

Процесс переименований, в случае постепенного развития, не должен вызвать серьезного недовольства населения. Мнение нетитульного меньшинства уже не так

весомо. Нарастающее же число «новых горожан» нуждается в преференциях в незнакомом месте жительства. Выходом из ситуации будет удовлетворение их требований о новых названиях улиц. Вчерашний сельский житель окажется в более или менее знакомой ономастической среде, что позволит хоть в какой-то мере адаптироваться к «своему» городу.

«Стереотипы феодальных времен» и городское пространство

Традиции, обычаи, казахский язык являются сердцевинной идеи национального возрождения. По мнению части национал-патриотов, возрождение возможно лишь в случае отказа от чуждых казахам европейских ценностей: «У казахского народа, недавно получившего свободу, есть смысл, имеющий большое стратегическое значение в выборе общественно-политического, духовно-культурного, религиозно-нравственного направления в своем развитии. Пока это направление больше тяготеет к западноевропейским образцам. Западная цивилизация, сделавшая своим знаменем либерализм, конституционность, права человека, демократию, стихийность рынка, максимальное невмешательство государства, свободу совести, примат индивидуализма, ставшие знаменем западной цивилизации, малопонятны и неприемлемы для тех, кто получил мусульманское, конфуцианское, синтоистское, буддистское воспитание, ибо, чем больше западная цивилизация утверждается в мире, тем сильнее закабальет человека. Если жизнь на Западе регулируется правом, законами, то на Востоке жизнь регулируется обычаями, традициями» (Сейдимбек А. Мир казахов. Этнокультурологическое переосмысление: Учеб. пособие. — Алматы: Рауан, 2001. С. 572—573). Советник министра иностранных дел Сайлау Батырша-улы высказался еще более конкретно: «Казахский народ, сколько бы ни заставляли его, не поддастся русификации и не подчинится культурной гегемонии Европы».

Проблема сосуществования городского пространства и традиционных практик, распространенных ранее в сельской, преимущественно автохтонной среде, вызывает немало вопросов. Диапазон вариантов развития событий можно ограничить следующими предположениями. По мнению общественного деятеля, журналиста А.Тужутова европеизированное городское пространство не устоит под напором пробуждающегося традиционного сознания: «Привнесенная россиянами и основанная на европейских духовных ценностях система управления и организации общественной жизни с обретением Казахстаном государственной независимости стала отступать, уступая место другой. В ее основе — казахские этнопсихологические стереотипы феодальных времен... процесс находится в развитии. И надо думать, постепенно охватит весь Казахстан, включая и большие города».

С другой стороны, политолог А.Гали возлагает на процесс урбанизации казахов большие надежды, предполагая, что городское пространство адаптирует бывших сельских жителей: «нужно преодолеть порог в 60 процентов казахов в городах... Чем скорее мы пересечем 60-процентный барьер и переселимся в города, тем выше будет социальная безопасность страны... Трайбализм в перспективе город будет поглощать, социализировать и ликвидировать, вплоть до последних остатков родоплеменных отношений». А.Гали большое значение придает именно количественному фактору. По его мнению, численное преимущество казахов в городах «превращает их в буржуазную нацию с развитой этнической инфраструктурой. Превращение казахов в городскую буржуазную, частнособственническую зажиточную нацию есть цивилизационный сдвиг в казахской истории».

Уровень урбанизированности казахов уже приблизился к обозначенному А.Гали 60-процентному барьеру. Более того, «государствообразующие» социальные ниши почти моноэтничны. Тенденции формирования автохтонного городского пространства

приобретают все более четкие формы. Настало время подвести некоторые итоги развития суверенного казахстанского города.

К.Бейсебаев, проработавший в системе МИД Казахстана около двадцати лет, констатирует: «Генеалогия пока еще является неотъемлемой частью нации. Нельзя не сказать, что каждый казах не только знает свою родословную до семи поколений, но и пристально отслеживает передвижение сородичей во властных структурах. Сегодня уже факт, что жузовое и родовое разделение казахов, загнанное на задворки в период СССР, с обретением республикой независимости только усилилось, и как бы власть ни делала вид, что этого не существует, данным феноменом пронизана титульная нация РК». Родоплеменные, клановые отношения становятся важным ресурсом карьерного роста. «Подбор кадров на основе родственных связей и личной преданности, пренебрежение деловыми качествами выдвинувшихся — давний наш порок, который ныне обрел сверхкрупные масштабы, на уровне новых мировых рекордов. Это препона формирования полноценного менталитета, быть может, самая-самая» (Испаев Я. Какой у нас менталитет? // «Мысль». 1998. № 2. С. 76). По мнению главного специалиста Института философии и политологии Р.Кадыржанова, «в кадровой политике опасен не только этнонациональный фактор, но и трайбалистский подход. Каждый крупный чиновник норовит окружить себя "своими" людьми, желательно из своего жуза. Теми, кто ему лично предан, и теми, кому он, безусловно, доверяет. Казахский язык, принадлежность к одному жузу — это своеобразный код доверия. Как ни печально, деловые качества при этом отходят на второй или даже десятый план».

Подобная кадровая политика ведет к проблемам в управленческом аппарате. Заместитель директора Центра анализа общественных проблем, член Совета внешней политики при МИД Казахстана К.Берентаев уверен, что «ответственным лицам... все сходит с рук, поскольку за ними, вероятно, стоит определенный клан. Какой-нибудь клерк из администрации президента порой обладает большей властью и влиянием, чем весь депутатский корпус вместе взятый. Системы госслужбы у нас построены по принципу клановости и личной преданности. Получается, что чиновник не отвечает за свои действия, а всего лишь несет ответственность перед тем лицом, которое поставило его на эту должность». Первый казахский космонавт, генерал Т.Аубакиров констатирует: «Сейчас каждый назначенец рассматривает государственную должность как частную лавочку, приватизирует министерства, создает вокруг себя клановые сети. На самом деле, это страшная вещь. Так происходило лишь в средневековье. Мы просто катастрофически опустились».

«Этнопсихологические стереотипы» все более заметно проявляются в быту. На рынках Шымкента появились наклейки на автомобильные номера с надписями «старший», «средний» и «младший» жузы. «Из нескольких сотен экземпляров, завезенных на авторынку города, через пару дней осталось всего пять штук». Вполне естественным для многих «новых горожан» являются такие предложения: «В Ассамблее народа Казахстана казахский этнос должен быть представлен на племенном уровне — адай, кипчак, аргын, дулат и т.п. Или они не относятся к народам Казахстана?» Или: «Футбольные команды надо формировать по родовой принадлежности. Там каталонцы, андалусийцы и баски, у нас алимы, аргыны и уйсунь. Дерби Шымкента, эль-классико — Дулат против Кобылат. На трибунах рев, родовые знамена, кричалки не тупые, а боевые ураны родов»

Традиционные практики входят во все большее противоречие с формальными социальными нормами. В разработанной генеральной прокуратурой программе модернизации правовой системы констатируется, что Казахстан оказался в числе стран с высоким уровнем коррупции, при этом «коррупция перестала быть проблемой, она стала системой. Нередко она воспринимается как продукт местных традиций и культуры, и следовательно, неотвратима, этим и объясняется терпимость людей к коррупции».

Под внешней оболочкой правового светского государства свои условия настойчиво диктуют традиционные нормы, которые еще воспринимаются как неформаль-

ные. При этом наблюдаются активные попытки их легитимизации: «Государственный строй и систему управления необходимо приспособлять под свои традиции, а не наоборот. Иначе мы потеряем свою народность и идентичность. Поэтому казахстанский Сенат должен быть представлен аксакалами племен и жузов, при этом все представители не титульной нации могут быть объединены в верхней палате в качестве четвертого жуза» (Албани Б. Наши предки владели тремя алфавитами! // «Свобода слова». 7 марта. 2013 г.). Известный политолог, доктор философских наук Н.Амрекулов: «Нынешние парламентские страны стали бесхозными образованиями. Выбираемые на пять лет лидеры — это временщики, куклы в руках мировой закулисы, которые запасаются богатством и вывозят его за пределы государства. Другое дело — возродить степную демократию. Идея перейти от президентской к ханской государственности повлечет восстановление всех элементов системы, иначе она не будет работать. Должны быть снизу избраны бии родов, учрежден их совет, который назначит премьер-министра в соответствии с духом и традициями степной демократии. Хан, избираемый на 5 лет, станет номинальным главнокомандующим и будет вести внешнеполитические дела, а главные вопросы решать должны бии и батыры на курултае. Это был бы гениальный выход, альтернатива хаосу и саморазрушению грядущей революции».

Представители властных структур понимают опасность складывающейся ситуации. М.Шайкемелев предупреждает: «Представьте, что каждый клан и род начнет требовать своего представительства в парламенте. Депутаты будут думать прежде всего об интересах той группы, которая "отрядила" их в мажилис. Усилятся эмигрантские настроения. Мы обязательно испортим отношения с соседями. Страна погрузится в хаос. Для модернизации страны ею должна управлять сильная президентская рука. Сильная президентская власть — это наша гарантия от проявлений трайбализма и сепаратизма».

Варианты демократизации, либерализации общества на фоне возрождения традиционных воззрений вызывают опасения и у научного истеблишмента: «Главный урок из прошлого в том, что в восточных обществах политическая либерализация по западному образцу может привести к краху. Возьмем в качестве примера ситуацию с выборами акимов. Предполагается, что свободно выбранные акимы — это шаг к дальнейшей демократизации общества. Вовсе нет. В условиях восточного общества свободно выбранный аким неизбежно станет местным "ханом", который просто воспользуется демократической процедурой для того, чтобы взять власть в свои руки и, возможно, навсегда. В результате мы станем свидетелями столкновений региональных "ханов" с центром, что напрямую будет угрожать целостности государства» (Акимбеков С., Сыроежкин К., Лаумулин М., Лаумулин Ч., Сыргабеков И. Очень простая идеология. Наш Казахстан — это страна, о которой мы почти ничего не знаем // «Казахстанская правда». 5 октября 2004 г.).

Возврат к истокам способствует обострению внутриэтнических отношений: «Усилилось не только межжузовое разделение. Проявляются случаи явного антагонизма представителей одних родов к другим. Такой подход проник во все сферы, включая спорт. Обсуждение особенностей своего происхождения и его преимуществ над другими прочно вошло в темы различных мероприятий и застолий. Автор был свидетелем, когда во время избирательной кампании в парламент в 2004 году один из кандидатов в президенты в приватной беседе признался, что его главная задача заключается в недопущении аргынов к власти» (Бейсебаев К. Не хотим смешиваться, а надо. Русские в Казахстане как раствор для сплочения коренного населения // «Взгляд». 11 июля 2011 г.).

О важности проблемы свидетельствует и то, что ее озвучил президент страны: «Как лидера нации меня беспокоит, что появились силы, которые хотят разрушить внутриказахстанское единство. Те, кто идет на поводу этого осознанно или неосознанно, начинают делиться по разным признакам, прежде всего по шежире. Нельзя забывать глубинную суть самой традиции шежире, она не заканчивается на одном роде, племени. Шежире — это Древо поколений, которое сводится к единому корню. Шежире показывает и доказывает, что корни наши едины, что все мы казахи — едины».

Шежире не раскалывает нас, а объединяет» (Нурсултан Назарбаев. Послание президента народу Казахстана // «Казахстанская правда». 14 декабря 2012 г.). Шежире — генеалогическая история казахов, основанная на родоплеменной организации кочевого общества.

Таким образом, растет значение обычаев, традиций казахов, бывших в тени в советский период. В начале 90-х годов XX века традиционные ценности приобретают «неформальную легитимность» благодаря лозунгу возврата к истокам. Они постепенно становятся едва ли не основным конструктором социальной сферы общества «ускоренной модернизации». По мнению поэта О. Сулейменова, происходящее характерно не только для Казахстана: «Общей бедой всех деколонизированных народов является неразвитость национального самосознания. Оно еще не успевает выработаться и часто в политике подменяется родоплеменным, не объединяющим народ. При этой форме сознания понятия "свобода", "независимость", "демократия" превращаются в свою противоположность. Что мы и видим в новейшей истории деколонизированных стран».

Важнейшую роль в подобной трансформации играет городское пространство, так как социальная, экономическая основа функционирования традиций в сельской местности стремится к нулю. Именно в городах традиционная схема реанимируется наиболее активно, в первую очередь в «верхних» социальных стратах. Возрождение актуально и потому, что выстраивание «родственной вертикали» характерно, в той или иной степени, для всех этносов, русских в том числе. Разница лишь в том, что у автохтонного варианта имеется мощный, идеологически обоснованный этнополитический ресурс. В то же время нельзя сказать, что традиции определяют повседневную жизнь городских казахов. Чаще всего о них вспоминают лишь в случае возможных социально-экономических изменений, весьма редких в жизни человека. Город довольно быстро разрушает общинную психологию. Горожане во втором поколении часто воспринимают родоплеменные связи как вынужденную обузу и, например, большого желания быть «патроном» при внедрении в городскую среду сельских родственников не испытывают.

По мнению многих представителей национальной интеллигенции, город изменил казахов, причем не в лучшую сторону. Президент благотворительного фонда «Добровольное общество "Милосердие"» А. Саин: «К сожалению, современное общество растеряло былые традиции. Если заглянете в детские дома, вы сильно удивитесь, узнав о том, что большая часть детей — казахи». Директор дома престарелых в Актобе А. Наурызгалиев: «Что сейчас творится?.. В 70-х—80-х годах в интернате не было ни одного казаха! А сейчас — 60 процентов. Дети не чтят своих родителей и традиции. А некоторые приходят только для того, чтобы забрать пенсию стариков».

Городское пространство выхолащивает из традиций истину, суть. Можно предположить, что возрождаются отнюдь не народные традиции — реанимируется социальный конструкт, приобретший актуальность в период массовой урбанизации автохтонов. Патриархальный родоплеменной набор используется в качестве ресурса карьерного роста, успешной экономической, политической деятельности.

Таким образом, стремительная урбанизация привела к неизбежному переносу в города традиционных практик казахов, распространенных ранее в сельской местности. «Практики» постепенно «обустраиваются» в новых условиях и становятся все более важным инструментом формирования городского пространства Республики Казахстан.

Этническая перезагрузка

Два суверенных десятилетия оказали серьезное влияние на структуру занятости. В немалой степени это связано с изменением этнического состава населения. Численность занятых за 1989—2009 годы сократилась на 14 с небольшим процентов. Произошло это в основном за счет уменьшения (на 45,1 процента) занятых русских. Численность же занятых казахского населения увеличилась на 46,2 процента. Подобный рост стал следствием эволюции возрастной структуры казахов. В трудоспособный

возраст вступило поколение 1980-х годов рождения, представителей первой демографической волны, вызванной демографическим взрывом 60-х годов XX века. Немалое влияние на рост численности трудоспособного казахского населения оказывают и последствия этнической иммиграции.

Но экономика страны особо не нуждается в росте трудовых ресурсов. Ведущую роль в ней играет добывающая промышленность, дающая 74 процента ВВП (в начале 2016 года министр национальной экономики РК Ерболат Досаев выступил в прессе с заявлением, что в текущем году ожидается снижение объемов производства горнодобывающей промышленности на 5 процентов, а в обрабатывающей на 1,4 процента). «В товарной структуре экспорта с 2005 г. доля минеральных ресурсов держится на отметке 77—80 процентов. Казахстан импортирует 92 процента одежды и более 60 процентов продовольствия» (Козина В. Сколько не говори «инновация», во рту слаще не станет: Программы правительства подверглись критике экономистов // «АиФ Казахстан». 2012. № 23). В наиболее сложном положении находится село, страдающее от отсутствия работы: «Сейчас сельская молодежь ищет место, куда приткнуться, это служба в армии, после нее они мечтают попасть в полицию, в КНБ, без военного билета они туда не попадут. Раньше взятки давали за то, чтобы не служить, а теперь — за то, чтобы пойти в армию» (Руденко А. В очередь, призывник, в очередь! // «Свобода слова». 3 мая 2012 г.).

Реальная безработица в РК составляет, по разным данным, от 25 процентов (Садыкова М. Как официальная статистика побеждает безработицу // «Голос Республики». 3 августа 2012 г.) до 40 процентов (Без работы в РК сидит почти 40 % всего населения // «Взгляд». 11 июля 2012 г.). Согласно же официальной статистике, уровень безработицы немного превышает 5 процентов (в I квартале 2016 года, по данным Комитета по статистике Министерства национальной экономики РК, уровень безработицы в стране составил 5 процентов). Подобный разрыв в оценках достигается вследствие присутствия такой группы населения, как «самозанятые» (около 2,5 миллионов человек). Существуют они, в основном, за счет личного подсобного хозяйства. Государственная статистика считает их занятыми, а независимые экономисты — безработными.

Как бы то ни было, основная масса бедных находится в сельской местности. Значительная часть селян не видит здесь каких-либо перспектив. По сведениям общественного фонда «Центр социальных и политических исследований "Стратегия"», чуть менее половины участников социологического опроса готовы сменить место жительства внутри Казахстана. Целью внутренней миграции становятся преимущественно Астана, Алма-Ата, областные центры. Директор Центра анализа общественных проблем М.Махмутова: «Несмотря на то, что жители больших городов не слишком довольны постоянным притоком сограждан из аулов, остановить этот процесс на данный момент нереально, так как само положение сельских жителей вынуждает их стремиться туда, где есть шанс найти работу и хоть чего-то в жизни добиться». И «большинство мигрантов не собираются возвращаться в родные села и малонаселенные города».

Структура занятости казахского населения претерпела значительные изменения. В конце 80-х годов XX века казахи трудились в основном в сельском хозяйстве (около 35 процентов занятых) и промышленности (13 процентов). В 2009 году в сельском хозяйстве было занято лишь чуть более 18 процентов казахов, в промышленности — чуть более 9 процентов. На ведущие позиции выходят образование и здравоохранение, торговля, государственное управление...

На фоне программ ускоренной модернизации, индустриально-инновационного развития подобная структура занятости вызывает немало вопросов. Стране, несмотря на неоднократные призывы властей получать техническое образование, не хватает именно инженерно-технических кадров, работников среднего технического звена. По мнению экспертов, ситуация с кадрами катастрофическая. Уже сегодня индустриально-инновационные проекты сталкиваются с дефицитом профессиональной рабочей силы. Бреши возникли на всех уровнях, начиная от слесарей и токарей и заканчивая высшим менеджментом: «К 2025 г. Казахстан рискует остаться без квалифицирован-

ных инженеров и рабочих — техническая интеллигенция вымрет как класс» (Кубайжанов А. «Технический» нокаут // «Свобода слова». 20 сентября 2012 г.).

Причину столь печального положения эксперты видят в эмиграции: «По сути, индустриальной революции в Казахстане не было. Вернее, она была, но только в городах и промышленных центрах. Ее осуществили европейские переселенцы, их дети и потомки. Коренное население было охвачено ею лишь частично. Но социалистическое общественное устройство приучило казахское общество пользоваться ее благами. Теперь же некоренное население покидает республику, а власть имущие продолжают исходить из того, что уровень развития, достигнутый за годы советской власти, — это неотъемлемое при любых этнодемографических изменениях достижение Казахстана. За 90-е гг. Казахстан, по сути дела, лишился цвета квалифицированных кадров индустриального труда» (Тужутов А. Здравствуй, дивный «третий мир»! // «Мегаполис». 29 августа 2002 г.).

Эмиграционные волны усиливаются после национал-патриотических акций (давление на статус русского языка, призывы переименовать города, сохранившие русские названия и т.п.), что еще более подчеркивает проблемы этнически дифференцированной структуры занятости. Мажилисмен М.Тиникеев заявил: «Я бы хотел спросить у этих национал-патриотов: кто-нибудь из ваших детей работает в шахтах? Больше чем уверен, что нет. 90 процентов работающих там — русскоговорящие люди. Важно не будировать такие вопросы, которые заставляют людей паковать вещи и уезжать!»

По мнению президента ОФ «ЦСПИ "Стратегия"» Г.Илеуовой, ситуацию определяет и менталитет казахов: «Ничего нового в непопулярности технических специальностей нет. Еще во времена СССР казахи особо не жаловали техническое направление. Так что это своего рода преемственность, плохая, но преемственность. Если раньше проблема нивелировалась "пришлыми" кадрами, то сейчас пробел обозначился». Эксперт считает, что приоритетом стало приобретение быстрого «дивиденда», который инженер получить не может. А гуманитарное высшее образование является веским основанием для «оседания» в чиновничьем аппарате или, на худой конец, в крупной юридической конторе или банке».

Система высшего образования Казахстана активно использует эту тенденцию. В результате рынок образования и рынок труда слабо соприкасаются. По мнению министра образования Б.Жумагулова, «вузы ориентируются исключительно на спрос населения и готовят в основном специалистов так называемых "престижных" профессий — юристов, экономистов. И забывают главного потребителя — рынок труда». Нехватка технических кадров все более компенсируется приглашением специалистов из России, Украины, Белоруссии и других стран.

Таким образом, социальная структура городского населения Казахстана все отчетливее приобретает этническую окраску. Выявились тенденции, действие которых будет определять ситуацию в близкой перспективе. С учетом того, что основными строителями социального пространства города являются казахи, до недавнего времени проживавшие в селах, классический вариант «западного» типа появится не скоро. Этническая перезагрузка городского пространства постепенно начинает сказываться на политических, экономических, социальных процессах. Формирование социальной структуры все более заметно зависит от «этнопсихологических стереотипов», утверждающихся в городах. «Казахи, благодаря непотизму, национальной корпоративности, оккупировали практически всю госслужбу. Уже можно сказать, что некоторые профессии являются чисто казахскими, как, например, дорожный полицейский. Форма охранников "Кузет" стала второй национальной одеждой» (Бейсебаев К. Не хотим смешиваться, а надо...). Социальная пирамида довольно четко этнически дифференцирована: «Верх пирамиды благосостояния занимают представители казахской национальности. С другой стороны, большинство "социальных аутсайдеров" также составляют автохтоны. Именно они приезжают из сельской местности в поисках работы и пополняют городской люмпен-пролетариат» (Там же). Основную массу среднего класса составляют нетитульные: «В среднем неказахская часть живет лучше. Это объясняется тем, что она занята в тех сферах экономики, где нужно опираться на

собственные силы, а не уповать только на протекцию, как большинство коренных жителей, поддерживаемых институтом "агашек" (Там же). «Ага» — старший в роду. В данном случае речь идет о чиновниках, выдвигенцах из какого-либо рода, продвигающих по служебной лестнице сородичей.

Для определенной части казахского населения данная социальная ниша большого интереса не представляет. Социальные лифты, управляемые институтом «агашек», должны обеспечить доставку сразу на «верхние этажи». По этой же причине престижные «этажи» почти недоступны для нетитульных. «В стране — ни одного русского акима и только один министр. А русских — четверть населения. Это означает одно: у молодых людей в этой стране шансов немного» (Киринациянов Ю. Великая казахстанская мечта. Можно ли преодолеть раскол страны по языковому принципу // «АиФ Казахстан». 2012. № 26).

Ситуацию пытается исправить президент страны: «Я требую, чтобы правительство и акимы навели порядок в трудовой политике. Надо чтобы на работу, особенно в органы местной власти, набирали лучших, вне зависимости от этнической принадлежности. Необходимо исправить однобокость, наблюдаемую при подборе кадров в министерствах и акиматах всех уровней» (Нурсултан Назарбаев. Послание президента народу Казахстана // «Казахстанская правда». 14 декабря 2012 г.).

Средний класс представлен в значительной мере нетитульным населением, численность которого сокращается. Вследствие этого «страна уже безвозвратно лишилась тех трудовых ресурсов и той производственной культуры, благодаря которым стало возможным появление и расширение материального базиса казахстанской, если так можно выразиться, цивилизации. А поскольку его воспроизводство теперь стало просто невозможным по причине человеческого фактора, цивилизация, из которой мы все, высоколобые и низколобые, вышли, начинает утрачиваться» (Сагинтаев Е. Демократия для казахов // «Мегаполис». 31 января 2001 г.).

По мере уменьшения представительства среднего класса, этнически однородные верхи и низы быстро сближаются. «Социальная подушка безопасности» становится все тоньше. Разрыв между бедными и богатыми виден невооруженным глазом. Главный редактор республиканской газеты «Туркестан» Ш.Паттеев обеспокоен тем, что «расслоение общества приобрело тотальный характер. Нам мешает и межклановая борьба, о которой в советское время практически не было слышно». По мере ослабления инерции «тоталитарного режима», «этнопсихологические стереотипы феодальных времен» способны доминировать во всех сферах жизни. Демократизация на этом фоне пугает непредсказуемыми последствиями. Эксперт-аналитик НКО «Гражданское общество» В.Ковтуновский: «Русскоязычная часть общества боится перемен, боится демократии, боится того, что к власти придут националисты, которые заставят их учить казахский язык. Значительная часть титульной нации тоже опасается демократии, потому что боится развития сепаратистских тенденций, угрозы территориальной целостности». К.Бейсебаев констатирует: «В случае резкого уменьшения численности славян в Казахстане в геометрической прогрессии будет усугубляться раздробление казахов».

Значительные изменения этнического состава города оказались не адекватны темпам качественных преобразований. «Нетитульные» занимали в городах те социальные ниши, восполнить которые «новые горожане» пока не в состоянии. В результате исправления «перекосов», доставшихся от советского прошлого, формируется «суверенный перекоп», который все более уверенно определяет будущее Республики Казахстан.

Город включается в традицию

Таким образом, в городском пространстве Казахстана происходит становление новой цивилизационной идентичности автохтонов. Становление идет трудно вследствие того, что, с одной стороны, в настоящее время почти полностью разрушена основа прежней, кочевой, цивилизации. С другой — самостоятельный опыт строитель-

ства городского пространства явно недостаточен. «Ясно, что при таком коренном изменении уклада, — считает культуролог З.Наурызбаева, — нация должна искать новые формы жизни, в массе заимствуя их у других народов». В результате «сегодня среда такова, что дети не только в смешанных семьях, но и зачастую в мононациональных, вырастают чужими родной культуре. Сейчас, когда кочевой дух, духовная традиция кочевников стали чем-то абстрактным, казахи оказываются под угрозой ассимиляции из-за своей склонности к переимчивости, из-за своего интереса к чужому». Культуролог полагает, что любовь к заимствованию чужеродного чревато потерей национального «Я» и является главной угрозой для казахов.

С ней согласны и другие авторы: «Наш соотечественник заимствования возвел в ранг искусства — не только выбрать приятные и нужные лично ему культурные и духовные ценности, но и подвести под это соответствующее культурологическое и историческое обоснование. В итоге возникла совершенно космополитичная каша, где смешались северные и южные, западные и восточные религиозные и советские обычаи, праздники и термины. А что такое традиционные ценности?.. Тенгрианские или исламские? Или советские?» (Ашимбаев Д. Национальные ценности и патриоты // «Время». 3 марта 2012 г.).

Оторвавшись от номадической основы, «традиционные ценности» пытаются пустить корни в новую, городскую почву. Процесс идет с переменным успехом. С одной стороны, город довольно быстро растворяет или искажает многие из этих ценностей. С другой — налицо активное «этническое переваривание» городского пространства, наполнение его элементами автохтонной культуры (меняющаяся языковая среда, ономастические, архитектурно-дизайнерские эволюции). Безболезненно усваивается визуальная поверхность города, во всяком случае, второе поколение горожан воспринимает его как естественную среду обитания. Основным итогом «адаптационного» периода стало включение городского пространства в традицию. Если ранее «город» воспринимался как символ «колониально-тоталитарного» наследия, то сейчас он стал «своим».

Но запаса «опыта заимствования» хватило лишь на усвоение новыми горожанами «поверхности» города и признания этой «поверхности» цивилизационным приоритетом. Об опасности подобного восприятия предупреждает М.Шайкемелев: «"Революция" в Ливии началась с того, что люди в Бенгази захотели жить так, как в столичном Триполи. А еще лучше — как на Западе, но оставаясь при своем традиционном восточном менталитете. Ездить в "мерседесах", но часами предаваться пустопорожней болтовне в кофейнях». Проникновение «вглубь» города будет сопровождаться серьезной деформацией сохранившихся традиционных ценностей. В первую очередь потому, что городское пространство заставляет по-другому мыслить: «Сами механизмы модернизации нуждаются в осмыслении и обновлении. Нам надо переходить к рациональному мышлению, оно в современной конкурентной среде наиболее выигрышно» (Кириница Ю. Великая казахстанская мечта...).

Интенсивное проникновение в городское пространство способно привести к потере основ национальной культуры, так как, по мнению этнографов, на индустриальном этапе материальное утрачивает способность отражать этническую специфику культурного развития из-за общих процессов стандартизации и унификации. Условной чертой, отступление за которую чревато потерей национального «Я», является, по мнению большинства представителей интеллигенции, казахская генеалогия — важная составляющая «этнопсихологических стереотипов феодальных времен». Городское же пространство, исходя из логики стратегических государственных программ, должно быть основным звеном в конструкции «постиндустриальное будущее», ориентироваться на «глобализм и космополитизм». Возможно ли сосуществование различных цивилизационных приоритетов? Если «да», то на каких условиях оно будет осуществляться? В поисках ответа на эти и многие другие вопросы и происходит становление городского пространства современного Казахстана.

Константин Щербаков

Голоса друзей

О лучших лентах кинематографистов Содружества в 2015 году

Время неумолимо отсчитывает десятилетия. Я давно не видел в экранных титрах имена знаменитого грузинского режиссера Эльдара Шенгелая, знаменитого азербайджанского писателя Рустама Ибрагимбекова. У каждого за плечами свой опыт, а тут их пути соединились, сошлись, и они вместе, при участии Фуада Ибрагимбекова и Теймураза Бутикашвили, сняли «Кавказское трио» (Грузия, Россия, Испания). В основе ситуация бытовая, обыденная. У молодого человека оказалось два отца: один — родной, другой — отчим, и надо как-то определяться с образом жизни, с фамилией, в конце концов. Ну и что, собственно, такого, о чем речь? Происходит, однако, экранное действие, и вы оказываетесь втянуты в человеческую историю, когда по ходу этой самой обыденности ломаются судьбы достойных людей, а атмосфера, воздух фильма насыщается отзвуками трагедий, уже случившихся и грядущих. Просто... просто потому что родной отец — армянин, отчим — азербайджанец, а их страны оказались в состоянии вражды, не оставляющей места для разума и понимания.

Троих старых и верных друзей — армянина, азербайджанца, грузина играют Юрий Стоянов и грузинские актеры Гога Пипинашвили и Баадур Цуладзе. Они хотят жить как жили, сохранить себя и свое человеческое достоинство — и платят за это высокую, очень высокую цену. Повседневность оборачивается каким-то зловещим, вылезавшим наружу душевным подпольем. Бал правит опьяненная вседозволенностью толпа в полном объеме или в лице отдельных ее, толпы, представителей.

Что же случилось, люди? В чем причина мучительного разлада, убивающих душу непримиримости и вражды? Я старый человек и хорошо помню времена, когда такой фильм, как «Кавказское трио», был невозможен. Я не цензуру имею в виду, невозможно было снимать кино про то, чего нет. В той Москве, в том Баку, в том Тбилиси, в том Ереване о национальности никто никого не спрашивал.

Кинофестивали в Баку. На улицах не толпа, а многоязычное человеческое содружество, где все понимали друг друга. И лица друзей¹ — Максуд, Рустам, Полад или

Щербаков Константин Александрович — искусствовед, кинокритик. Родился 9 мая 1938 года в Москве. В 1960 году окончил факультет журналистики МГУ, кандидат философских наук (1975). Печатается с 1956 года. Работал в газетах «Московский комсомолец», «Комсомольская правда», журнале «Дружба народов». В 1987—1992 гг. — главный редактор журнала «Искусство кино». Заместитель, первый заместитель Министра культуры РФ (1992—1998). Заместитель Председателя Конфедерации союзов кинематографистов государств — бывших республик СССР.

¹ Речь идет о прозаике Максуде Ибрагимбекове и его брате писателе и кинорежиссере Рустаме Ибрагимбекове, певце и композиторе Поладе Бюль-Бюль оглы и заслуженном работнике культуры Азербайджана Макбете Бунятове (*прим. ред.*).

директор цирка Макбет — нежнейшей души человек с суровым лицом шотландского тана... Власти враждовали с народами — это было, но чтоб народы с народами — нет. Лишние грехи на советские годы вешать не надо. С той поры слишком много перевернулось, разбилось, границы прорезалась по живому. Давно не был на Кавказе за пределами России, и вот, глядя на экран, задаю вопрос своим друзьям — Рустаму, Эльдару, самому себе задаю вопрос: неужели теперь все так? И возможность лишиться работы, здоровья, жизни за сочувствие человеку иной национальности, и слепая, глухая ненависть друг к другу нормальных (да какая уж тут нормальность?) людей — это та реальность, в которой нам теперь жить?

Задаю и оглядываюсь по сторонам: там — Украина, там — Турция, и снова возвращаюсь к фильму — он ведь об этом тоже. А еще в водовороте абсурда различаю людей, лучших из них, которые остаются людьми, хотя слишком многое склоняет их к тому, чтобы потерять человеческий облик. Они срываются, говорят слова, за которые потом будет стыдно, и все равно остаются людьми. В фильме Шенгеля и Ибрагимбекова есть послание людям. И есть отвага послание это не приглушать, не смягчать.

В прошлом у Шенгеля и Ибрагимбекова — киноработы, не идеализировавшие, мягко говоря, тогдашнюю нашу реальность. «Голубые горы», к примеру, «Допрос»... Были гнев, сарказм, была ирония, но и надежда была, что мы все-таки общими усилиями пробьемся к жизни достойной и стоящей. И человеческое содружество наше сбережем. Что же от надежды осталось? Да вот то и осталось, наверное, что собрались художники из прежде одной страны, а теперь из стран разных, собрались и сняли многонациональное кино о том, что противоестественны границы в человеческих душах, о том, что человеческое единение, человеческое содружество не ушло безвозвратно в прошлое. Нет, оно существует и будет существовать, как бы обстоятельства этому ни противились. И напомнили о том, что у искусства, у искусства кино в частности, есть обязательства перед людьми. Есть миссия, о которой нельзя забывать. В решающую, переломную пору особенно.

Так вот, человеческое содружество... Воспоминания, еще не подернутые дымкой времени. Киношкола, детище Конфедерации Союзов кинематографистов, где собирались начинающие режиссеры, операторы, сценаристы, критики из всех — из всех! — государств бывшего СССР. Ребята из Армении и Азербайджана: настороженные взгляды, прощупывающие реплики.

А через десять дней, когда пришла пора расставаться, — слезы, объятия, обмен телефонами, адресами и клятвенные обещания сделать все, от них зависящее, чтобы встретиться вновь. Только мало от этих ребят зависело, как впрочем, и от нас, сотрудников Конфедерации Союзов кинематографистов. У высших инстанций нашлось иное применение для тех более чем скромных денежных средств, которые требовались для проведения киношколы. Кризис? Да нет, все это было еще до кризиса. Тенденция давняя.

А недавно — новая вспышка армяно-азербайджанского конфликта. Где были, что делали армянские и азербайджанские ученики киношколы, ставшие людьми зрелыми, взрослыми? Те самые мальчишки и девчонки, которых Москва поманила было перспективой дружеского единения, а потом забыла, озаботившись, надо полагать, делами, более важными. Да нет, я понимаю, наши президент и премьер-министр лично конфликт улаживали. И никто никого ни в чем не обвиняет. Избави бог. Только спросить хочу: «школьные» объятия — они, что, кому-то мешали? Стоило их разрывать ради нескольких миллионов рублей экономии? А дружбы, организованные в нужный момент и по указанию свыше, они, как показывает опыт, имеют свою теневую сторону, очень мягко говоря. Да и кто его угадает, нужный момент?

К тому же нет у нас государственной идеологии, позволяющей подобные

манипуляции чувствами. Это и в Конституции закреплено. Хорошо, что нет, — много у нас было заморочек с государственной идеологией. Принудительное единство ушло в прошлое. Но человеческие ценности, простые и вечные: солидарность, верность, порядочность, милосердие — в прошлое не уходили. О них просто забывают на нашей политической кухне.

Еще несколько лет назад киношкола, как и Форум национальных кинематографий, который проводила опять же Конфедерация Союзов кинематографистов, становились значительными событиями в культурной жизни Москвы. Потом они прекратились по причинам финансовым и организационным. Кинематографическая общественность столицы утратила возможность видеть кино, которое снимается в бывших республиках СССР. Но вот по инициативе председателя Конфедерации Союзов кинематографистов Рустама Ибрагимбекова, при участии Фонда поддержки публичной дипломатии имени Горчакова, при поддержке руководства Центрального дома журналиста, здесь, в этом доме, в апреле нынешнего года прошел если не полноценный форум, то существенный кинопоказ «Дни национального кино», где были представлены пять фильмов, номинированные на кинопремию «Ника» как лучшие фильмы постсоветского пространства, сделанные в 2015 году. В их числе было показано «Кавказское трио». Нет, не оборвалась ниточка.

Эстонская кинематография была представлена фильмом «1944» Эльмо Нюганена, театрального и кинорежиссера, известного далеко за пределами Эстонии, ставившего спектакли в Петербурге и Москве. Действие фильма происходит в 1944 году, когда советская армия вступила на территорию маленькой страны, оккупированной Германией, и эстонцы, оказавшиеся оружием в руках по разные стороны линии фронта, были обречены на братоубийство. Выступая перед сеансом, Нюганен чрезвычайно деликатно заметил: «В подобных фильмах ищут абсолютно правых и абсолютно виноватых. В моем фильме правых и виноватых нет».

Может быть, кого-нибудь эти слова резанули. Но давайте не забывать, что для нас и для Эстонии это все-таки были разные войны. Для СССР, для России — война священная, народная, когда предательство — это предательство, которое ничем нельзя оправдать. Для Эстонии, которая всего полтора года пробыла в составе СССР, это была на фоне мировой войны еще и война гражданская, обостренная тем, что воюющие супергосударства с маленькой страной не очень считались. Потрясающая сцена в фильме, когда из противоположных окопов, ведущих ожесточенную перестрелку, поднимаются двое и узнают друг в друге соотечественников. Брат поднимал руку на брата, сосед убивал соседа... во имя чего?

В нашей сегодняшней официальной историографии, публицистике, кинематографе иное отношение к гражданской войне, чем в советские годы. Изменился политический строй, только есть и иные причины для такого пересмотра взглядов на наше трагическое прошлое. Да и самое главное, что пересматривать? «Тихий Дон» Шолохова, «Сорок первый» Лавренёва, «Россию, кровью умытую» Артёма Весёлого? Булгаковскую «Белую гвардию»? А в кино уже на нашей памяти — «Комиссары» украинца Николая Мащенко, «Никто не хотел умирать» литовца Витаутаса Жалакявичюса. Здесь тоже не было правых и виноватых, были люди, судьбы которых пришлись на переломы эпох. Выстоят, сохранят ли себя? Или перемолоты будут человеческие судьбы жерновами истории? Фильм Нюганена в этом ряду. И противостояния в нем не идеологические, а человеческие. Тех, кто в аду войны помнят, что нельзя мстить детям, что нельзя убивать безоружных, слабых, — и тех, кто об этом забывают. Или тех, кто не задумывался об этом, убежденный, что ради победы над противником разрешено все.

Люди из разных военных лагерей, для которых совесть не пустой звук, в фильме Нюганена похожи, почти двойники, сильные, статные молодые мужчины. Их сначала

даже путаешь. Что это, режиссерский просчет, недосмотр? Проходит несколько экранных минут... Да нет же, просто в обстоятельствах трагического выбора люди с живой душой существуют и поступают так, что одного можно принять за другого. И одновременно каждый — личность, у каждого своя судьба, четко в фильме прочерченная.

Фильм посмотрел каждый десятый житель Эстонии. А в России? Неужели только на «Днях национального кино»? Много ли у нас лент последнего времени, где противостояние человечности и бесчеловечности показаны с таким бесстрашием, с такой безоглядностью?

Противостояние это, наверное, коренное для начала XXI века. И всматриваться сквозь его призму в нынешнее искусство всего плодотворнее. Два самых крупных киносмотров России — «Ника» и «Золотой орел» — как бы противостоят друг другу. Однако три-четыре фильма-фаворита, независимо от распределения наград, на обоих смотрах одни и те же. Хочу высказать суждение, подробно обосновывать которое сейчас возможности нет. Я буду даже рад, если это мое бездоказательное суждение будет доказательно опровергнуто. И однако... В российских фильмах, которые наверное справедливо были признаны лучшими на авторитетных киносмотре, соприкосновение с болью реальности — поверху, сбоку, по касательной. Около сути, поблизости. Может, год такой неудачный, может, я увлекся и кругом неправ. Да, и около, поблизости — это совсем неплохо. Но из пяти картин, проходивших по номинации «Лучший фильм национальной кинематографии» я почувствовал, узнал, получил пищи для размышлений больше, чем из российских фильмов, конечно же, заслуженно признанных фаворитами.

Я люблю российское кино, но чтобы вот так встать и сказать, как сказали Шенгеляя, Ибрагимбеков, Нюганен... Напомню, речь идет только о 2015 годе. Далеко идущих выводов не делаю.

А лучшим из пяти академики из «Ники» признали киргизскую ленту «Небесное кочевье» режиссера Мирлана Абдыкалыкова. Как, впрочем, и фестиваль «Киношок».

Будучи сыном Актана Абдыкалыкова, режиссера, лауреата многих международных премий, Мирлан поддержал семейную традицию достойно. И не только по части наград. Киргизскому поэтическому кино уже несколько поколений. Толомуш Океев, Болот Шамшиев, потом Актан Абдыкалыков, Эрнест Абдыжапаров, Марат Сарулу... В их фильмах гул исторических потрясений чаще всего далеко за кадром, а на экране — драма, которая происходит в человеческой душе. В фильме «Небесное кочевье» это души людей, живущих высоко в горах по законам предков. Завораживает красота пейзажей горной Киргизии. Вечно они были и вечно будут, и люди, кажется, из этой вечности. Всякие признаки современности — метеостанции и бульдозеры — так, наносное.

«Зачем предсказатели погоды? Погода — от Бога», — так примерно говорит одна из героинь. Столкновение первозданной природы и цивилизации? Да, только об этом много уже было написано, снято, и суть высказывания Мирлана Абдыкалыкова не в этом. Цивилизации меняются, даже вечные горы не могут этому помешать. Остаются люди, их понимание обязательств перед землей, на которой они выросли, перед таким же людьми, с которыми делят кров. И случается, они расходятся — понимание долга и жажда счастья, даже самого простого, бабьего. Случилось так, что по разным причинам распалось маленькое человеческое содружество, и героини остались одни. Так и застыли они в финальном стоп-кадре — маленькая девочка, женщина, остро ощутившая уходящую молодость, старуха, которой доживать век. И бездонность неба и величие гор тут не в помощь. Остается человеческое достоинство и силы продолжать

жизнь, которая будет им нелегко даваться в условиях первозданной природы. Но они, наверное, смогут.

В условиях жизни героев фильма «Покой нам только снится» (Литва, Россия, Франция, режиссер Шарунас Бартас) никакой первозданности, вполне благополучный поселок, видимо, где-то неподалеку от Вильнюса. В главной роли — сам Бартас, в других — члены его семьи, соседи. У жены, скрипачки, что-то с концертом не задалось, приехали отдохнуть, расслабиться. Ну, попивает супруга, ну, сосед-скотина жену свою поколачивает, так ведь не без этого. Будни! Уж куда будничней. Это подчеркнуто работой непрофессиональных исполнителей, которых режиссер сумел настроить на абсолютную достоверность, скрупулезное в мельчайших деталях следование повседневности. В «Небесном кочевье» люди оставались жить, преодолевая нелегкие будни. Здесь, у Бартаса, перемотать нечего — все налажено, устроено, и однако незаметно, подспудно накапливается нечто, не имеющее, казалось бы, причин, но имеющее роковые следствия. Два человека гибнут. Один на склоне лет, другой — мальчишка совсем. И недоумения у меня нет, понимаю: иначе быть не могло. Из фильма в фильм Шарунас Бартас исследует самые сокровенные структуры души, добирается до подполья, и получается, что далеко не всегда так уж неотвратима зависимость человека от внешних обстоятельств и социальных катаклизмов. Где все происходит? В советской Литве, в буржуазной? По внешним признакам, в наши дни, только это ничего не меняет. У загадок человеческой души, утверждает режиссер, далеко не всегда есть разгадки, и надо учиться с этими загадками сосуществовать, принять как должное соседство с непредсказуемостью.

Будни — да, они разные. У Абдыкалыкова они одни, у Бартаса другие. И всякий раз соотносишь их со своими, с нашими. А вот «Песнь песней» режиссера Евы Нейман (Украина) — это Шолом-Алейхем, повседневность тихого еврейского местечка, а все равно — соотносишь. Увидеть на экране живой, не крикливый, не утрированный национальный колорит — это всегда удовольствие. Искусством создания такого колорита Нейман владеет вполне. Высокий профессионализм молодого режиссера опять-таки подтвержден международными призами, и актеры разных национальностей составили очень профессиональный ансамбль. Вспоминаю, как достоверны были коренные русские артисты Михаил Ульянов, Евгений Леонов в ролях героев Шолом-Алейхема. Теперь, по моим понятиям, к этому великолепному ряду добавился Всеволод Шиловский (а впрочем, я его о национальности не спрашивал). В фильме «Песнь песней» он сыграл ребе. Лента получилась изящная, тонкая, исполненная сострадания к героям, которым так немного надо — просто не голодно жить и спокойно растить детей. А со своими делами, семейными и прочими, они разберутся сами, только бы в покое оставили. И кто скажет, что эта мысль, пронизывающая фильм, нынче не актуальна. Я не скажу, хотя в еврейских местечках жить не случилось.

Голоса друзей — понимаю, наверное, звучит банально на фоне минувших десятилетий. И все же назову статью именно так.